

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

В горах. Очерк из уральской ЖИЗНИ

(Библиотека "Огонек ")

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим...", "В горах" и "Золотая ночь".

*Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений в 10 т.
М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)
Том 1 — с. 286–371.*

Содержание

I	.0003
II	.0010
III	.0026
IV	.0040
V	.0046
VI	.0063
VII	.0082
VIII	.0091
IX	.0104
X	.0120
XI	.0131
XII	.0145
XIII	.0156
XIV	.0163
XV	.0173
XVI	.0186
XVII	.0200
Примечания	.0218

... Мне пришлось сделать еще шагов две-
сти, как до моего слуха явственно до-
неслись сдержанное, глухое ворчание и отрыви-
стый, нерешительный лай; еще сто ша-
гов — и лес точно расступился передо мною,
открывая узкий и глубокий лог. На правой
стороне его виднелся яркий огонь, который
освещал небольшой палаустный[1] балаган,
приткнувшийся к самой опушке леса; группа
каких-то людей смотрела в мою сторону. Из
высокой травы показалась острая морда лох-
матой собачонки; она лаяла на меня с тем
особенным собачьим азартом, который про-
является у собак только в лесу. Не было со-
мнения, что я попал на стоянку каких-нибудь
«старателей», [2] заведенных в эту глушь жаж-
дой легкой наживы и слепой верой в какое-то
никому не известное счастье.

— Кто там, крещеный? — сердито оклик-
нул меня мужской голос, когда между мной и
балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите пе-
реночевать, — отозвался я, защищаясь от на-

падавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнейч, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищурив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно

было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир, дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глуховорчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь...

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстененького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой черноватою бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — рас-

терянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновой, — забормотал Калин Калиныч, почти-точно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. — А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустил ся опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

— Я вам не помешаю? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, — отвечала Василиса Мироновна, не двигаясь с места. — Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Ва-

сила Милоновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

— Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

— Одначе здоровый крюк сделал! — проговорила Василиса Милоновна, обращаясь к старику.

— Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писанный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, — отвечал старик.

— А отсюда до Момынихи сколько верст будет? — спросил я старика.

— Да как тебе сказать, чтобы не соврать... Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

— А как этот лог называется, где вы старе-

тесь?

— Да кто его знает, как он называется... — с видимой неохотой отвечал старик. — По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

— А ты, поди, есть хочешь, сердешный? — ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. — На-ка, вот, закуси, а то натощак спать плохо будешь... Не взыщи на угощеньи, — наше дело тоже странное:[3] что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

— Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! — умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся благодарить за этот ужин, раскольниковица опустила глаза и скромно сказала:

— Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, — не взыщи с нас. — Помолчав немного, она прибавила: — Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, — ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, — я согласился.

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего

неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько поленьев сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и

улыбался, Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел. Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине. Наружность Калина Калиныча была совершенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с

короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого — ноги, у третьего — туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калинин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калинин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.

— Говорят, к нам на Старый завод нового станového пришлют, — говорил старик, глядя на огонь.

— Врут! — резко ответила Василиса Мирославовна. — Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, — ему и шевелиться-то теперь лень...

— А больно он смешон попервоначалу-то был, — улыбаясь, говорил старик.

— Кто это?

— Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, — ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась — и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам — казаки, сотские, все, как

следовало. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, — говорит Пальцев, — говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», — это он казакам своим, — ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, — говорит Пальцев, а сам смеется, — тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, — ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

— Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, — говорила Василиса Мироновна.

— Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой — так посеребрит, что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел,

так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станового ставил, — звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся — Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрят...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижусь ни жив ни мертв. «Погоди, — говорит Пальцев, — мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, — знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сижусь этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

— Тут, в позапрошлом году, возил я в Мах-

нево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

— Это Федя-то Заверткин?

— Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, — пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на доньшке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довести, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! — кричит. — Где едем?» — «Так и так, ваше благородие...» — «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разве я, говорит, туда тебе велел ехать?» — «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» — «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» — а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, — обидел он меня, — так бы вот его взял да перекусил пополам... А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только по-

шевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» — «Поворачивай назад в Махнево!» — кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке — так, совсем бросовая бабенка, — посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатились... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили — страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой — да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого завода и пролежала... Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, — прибавил расказчик.

— Как порешил?

— Загнал всех лошадей начисто.

— Заплатил?

— Какое заплатил! Я же две недели отси-
дел в темной... И с ямщины согнал.

— Этакой пес! — ворчала Василиса Миро-
новна. — Хуже станového будет...

— В тыщу раз хуже: становой што? Стано-
вой — человек все-таки с рассуждением, а это
просто разбойник, — того гляди, убьет... Становой
обнакновенно возьмет свое и остраст-
ку задаст, а таких безобразиев я не видывал.

— Оно точно, что Федор Иваныч большие
безобразники, — вставил свое слово Калин
Калиныч, хранивший все время молчание. —
Как-то намеднись у старшины в гостях были,
так они чуть мне вилкой глаз не выткнули...
Ей-богу-с! И беспрременно бы выткнули, ес-
ли б я не исполнил все по-ихнему: налили
мне полрюмки водки, наклали туда горчицы,
перцу, карасину налили, — ведь выпил-с!

— Кто выпил?

— Да я выпил-с, — с невозмутимой улыб-
кой отвечал Калин Калиныч. — И после этого
ничего худого со мной не было, только очин-
но вспотел-с... Так уж господь-батюшка про-
нес меня за родительские молитвы...

— Ишь ведь, гнус какой завелся! — сердито ворчала Василиса Мироновна.

— А вы это напрасно, Василиса Мироновна, — вступился Калин Калиныч. — Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

— Ах, Калин, Калин, — качая головой, строго говорила раскольница, — дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

— А вот и скажу, и всегда скажу! — с азартом протестовал Калин Калиныч. — Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота толкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч — другое: он — от души, для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижаюсь! Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там — бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

— Ну, а дочь у тебя где, Калин?

— Дочь?.. Дочь на месте... Учительшей служит, — не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: — А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощенный день на масленой проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне — не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.

— А ведь она меня обидела как, — продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. — Сели мы в прощенный день обедать, она и давай меня донимать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, — про себя говорит, — жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бро-

сильно жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на глазах, а она надомной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, — это она меня и себя уродами-то крестит, — а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас — и рост и детки, — от бога, мол, все это, а на бога приходить[4] грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, — во всей нашей природе не было таких карахтеров.

— Нехорошо это, больно нехорошо, — говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.

— И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, — точно там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже со-

вестно бывает после.

— А с дочерью-то помирился? — спрашивала раскольница.

— Помирился и проклятие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, — она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней — и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.

— А что Аристарх Прохорыч? — спрашивала раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

— У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

— И ты в свидетелях?

— И меня запутали, грех их бей!..

— Чего же ты показывать будешь?

— А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеднись приехал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

— А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

— Нет-с... Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:

— Это все их адвокат мутит...

— Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

— А кто же, по-вашему, виноват?

— А по-моему — оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить целую Одиссею, но меня лично интересовали не эти рассказы, а Василиса Мироновна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обык-

новенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять — шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где водка, там, конечно, присутствуют и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неистощимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дрянью. Старик пробовал отказываться, но это было совершенно напрасно, — приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила неременное желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

— Да ты-то чего мнешься? Оставайся! — говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у

Калина Калиныча.

— Я-с... я-с с моим удовольствием, — лепетал старик, — только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

— Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

— Это точно-с, только-с оно неловко-с.

— Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

— Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

— Да что с ним говорить попусту, — вступился Заверткин. — Ты, Калин, говори уж прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. — Матрена Савишна, оно точно, будут сердиться, а я скажу: в го-

стях воля хозяйская... Хе-хе-хе!..

— Молодец, Калин Калиныч! — орали пьяные голоса. — Bravo, Калин Калиныч! Будь же мужчиной, голубчик, а то ты совсем обабился.

Через час вся компания расположилась спать в той же комнате, где происходила «закуска». Калину Калинычу было отведено место где-то под столом; он уже разделся и готовился снимать сапоги.

— А ведь, Калин Калиныч, если рассудить это дело, так ты не совсем хорошо это делаешь, что остаешься спать здесь, — заговорил Пальцев. — Ты, ангел мой, не холостой человек, а оставляешь дома жену одну. Она, ангел мой, будет о тебе думать, что ты бог знает куда забрался. Нехорошо, ангел мой!

Это было сигналом, и все разом начали уговаривать Калина Калиныча идти домой. Старик сначала недоверчиво смотрит на всех, но потом начинает быстро одеваться. Когда совсем одетый Калин Калиныч хочет прощаться, Гвоздев загораживает ему дорогу и говорит:

— Ну вот, какой ты бесхарактерный чело-

век!.. Тебе сказали, что нехорошо в чужих людях спать, ты и поверил. Да ведь ты сказал, — значит, нужно оставаться. Вот у Федора Ивановича тоже есть жена, и у других, да ведь не бегут от хорошей компании. Ты просто срамишь меня.

Эта забавная сцена, в которой Калин Калиныч то начинал прощаться со всеми, чтобы идти домой, то снова раздевался и ложился на свое место, продолжалась слишком долго и, наконец, надоела всем, так что старика на время оставили в покое.

— А ведь ты, Калин Калиныч, боишься своей Матрены Савишны? — спрашивал кто-то в темноте, когда уж все готовились заснуть.

Старик крепился и ничего не отвечал; но это не удовлетворяло гостей, которым хотелось еще потешиться над старым чудаком.

— А ведь признайся, ангел мой, она иногда лупцует тебя? — послышался голос Пальцева, вызвавший сдержанный смех публики. — Ведь ты, ангел мой, говорят, сильно боишься ее? Конечно, ангел мой, я этому не верю, но все-таки...

— Что же мне их бояться? — отозвался, на-

конец, старик, терпение которого прорвало. — Они не медведь...

— Э, да что тут пустяки говорить! — слышался голос Феди Заверткина, временно потерявшего сознание и теперь снова получившего способность выражаться членораздельными звуками. — Не-ет, бр-рат, нет!.. Ты нам расскажи, как жена тебя в подполье столкнула...

— Калин Калиныч, голубчик, расскажи! — слышались умоляющие голоса. Кто-то черкнул спичкой о стену, и зажгли свечу.

— Что же-с, дело самое обнакновенное-с, — заговорил Калин Калиныч, усаживаясь на своем месте по-детски, скрестив под себя свои коротенькие ножки. — Вечером поужинали-с, как следывает-с, легли почивать-с и всякое прочее... Хе-хе-хе!

— Bravo!.. Молодец, Калин Калиныч! — орала вся компания.

— Ну-с, лежим это мы на постели и начали промежду собой разговаривать-с, а Матрена Савишна возьми и рассердись... У них уж такой карахтер: как зачнут со мной разговаривать, так и сердятся-с... Я и говорю им: «Пере-

станьте, говорю, Матрена Савишна, гневаться, потому, говорю, первое дело, это грешно-с, а второе, говорю, я вам муж, говорю...» Так прямо и отрезал-с, ей-богу-с! Как ножом отрезал да еще прибавил: «Надо, мол, это самое дело оставить...» Только это слово я вымолвил им, они, можно сказать, из себя вышли и вступили в большой азарт... Да я рассказывал вам, господа, — взмолился было Калин Калиныч.

Но публика не хотела и слышать об отказе и, как говорится, пристала с ножом к горлу.

— Ну, вот-с, как Матрена Савишна вышли из себя и начали кричать, — продолжал старик: — «Так вот, говорит, какие ты поступки со мной поступаешь!» — да этак меня ногой маненечко как толканут, — ей-богу, маненечко! — я с постели и опрокинулся на пол, а голбец был открыт, — я туда... Так вниз головой и сверзился, а все сам виноват — со страху-с!.. А Матрена Савишна — добрейшая женщина, ей-богу-с!

Снова все хохотали, — хохотали нехорошим, пьяным хохотом. Вместе с другими смеялся и Калин Калиныч своим детски добро-

душным смехом, от которого забавно вздрагивали его полные, румяные щеки и колыхался круглый живот.

— Так ты, ангел мой, прямо в голбец, турманом?.. О-хо-хо! Уморил, ангел мой! — заливался Пальцев, схватившись за бока.

— Она нарочно и голбец отворила, чтобы столкнуть тебя туда, — уверял Заверткин.

— Ну, уж это неправда, Федор Иваныч! — вступился Калин Калиныч. — Это вы напраслину говорите-с...

После этого вечера мне несколько раз приходилось сталкиваться с Калином Калинычем, и мы встречались уже как старые знакомые. Добрый старик действительно приглашал меня к себе в гости, извиняясь очень подробно, что он живет в простой избушке. Меня очень интересовал этот странный человек, но побывать у него все как-то не удавалось.

Василису Мироновну я знал только по слухам, но и по этим отрывочным сведениям, какие имелись у меня, я, кажется, сразу узнал бы ее, — настолько ее портрет резко отличался от всех других людей.

По своему общественному положению она

была раскольничья начетчица, но это было, так сказать, ее официальное звание, а в действительности через ее ловкие руки проходило многое множество самых разнообразных дел, которые даже невозможно было отнести к какой-нибудь определенной профессии. Жила она в Старом заводе, на краю селенья, в новеньком деревянном домике с зелеными ставнями. По семейному положению она была Христова невеста, бобылка. Почему не вышла замуж Василиса Мироновна, это составляло загадку. И по красоте, и по здоровью, и по своему уму, и по характеру она была завидной невестой, и любой заводский парень женился бы на ней, только стоило ей повести бровью; но она осталась старой девой, ревниво сохраняя свою самостоятельность, девичью волю и скрывая от посторонних глаз истинные причины своего девства. Самыми главными достоинствами знаменитой раскольницы были ее характер и язык, — она умела со всеми «ладить» и заговаривала своей ласковой, медовой речью каждого. В ее характере было что-то неотразимо привлекательное, и с ней мирились даже такие люди,

которые явно были предубеждены против нее. Василиса Мироновна сумела поставить себя так, что служила соединяющим звеном между раскольниками и православными. Она была везде, все ее знали, и все были рады ее видеть: от раскольника золотопромышленника она шла к православному попу, от попа — к исправнику, от исправника заворачивала к матушке дьяконице, от матушки дьяконицы шла к знакомому мужику. И везде у ней было дело, везде ей были рады, и везде она оставалась одной и тою же Василисой Мироновной — доброй, ласковой, остроумной. В характере этой женщины соединялись энергия и предприимчивость мужчины с любящим сердцем женщины, в чем, вероятно, и заключался главный секрет ее влияния на всех. Что касается рода занятий, то Василиса Мироновна бралась за все, что попадало ей в руки: читала по покойникам, утешала страждущих, навещала больных, вела торговлю хлебом, покупала на ярмарке лошадей, меняла и перепродавала их; но, без сомнения, ее главным делом были нужды и интересы раскольничьей общины, к которой она сама принадле-

жала. Чуть кто позапутается из раскольников, накроет исправник моленную, поймает австрийского архиерея, — Василиса Мироновна идет к становому, без ропота, покорно выслушивает всю ругань и распеканья, угрозы и топанье ногами; а кончится дело тем, что тот же становой потреплет Василису Мироновну по плечу и проговорит: «Ну, смотри, ангел мой, чтоб это было в последний раз... Слышишь? Только для тебя это делаю... Понимаешь, ангел мой? Потому, тебе бы не по покойникам читать, а министром быть!» Низко поклонится Василиса Мироновна и смиренно отправится в свою избушку. Поговаривали, что она вела торговлю золотом и исправляла должность раскольничьего попа, но это еще требовало подтверждения.

На рассвете Куфта что-то заворчала, — вероятно, на подошедшую очень близко к балагану лошадь. Я проснулся. Небо было совсем серое; звезды едва теплились; все кругом точно оцепенело и замерло в ожидании солнечного восхода. Холодный воздух заставлял вздрагивать, и я напрасно закрывался халатом, которым прикрыл меня, вероятно, Калин

Калиныч. Огонь перед балаганом едва тлелся. Калин Калиныч спал около него мертвым сном, свернувшись клубочком; Василиса Мионовна лежала тоже около огонька; один старик сидел и что-то тихо рассказывал своей слушательнице. Я насторожил уши.

— У меня есть кошка, трехшерстная, ребяташки откедова-то добыли, — тихо рассказывал старик. — Вот она и окотись... Я велел было утопить котят-то, да ребята больно заревели, я их и оставил. Пусть поживут, думаю, а там раздадим по соседям, — больно уж любопытные котятки-то, все в мать... Только это я на той неделе лежу у себя в избе, сплю, значит, на полу, да спросонков-то и раскинул руками, да так инда подскочил с войлока: думал, меня домовой за руку-то схватил али змея в избу заползла... А это кошка своих котятков ко мне на постелю стаскала, я это их руками-то и задел. Я взял их да под печку и снес, а сам лег опять спать. Только мне чего-то не спалось в ту ночь, а уж дело к утру, — заря занимается. Вот лежу это я и вижу: кошка крадется, крадется ко мне, а чуть я глаз открою, она и остановится и глаза зажмурит. Думаю,

мышь видит, — дай посмотрю, как ловить станет. Притворился, что будто сплю, а сам на нее смотрю, что, значит, будет она делать. И дошла же эта тварь, кошка, только вот не говорит! Увидала, что я сплю, живо под печку, котенка в зубы — и ко мне его на войлок, а сама под лавку, как мольня, и глядит оттедова, не проснись ли я. А я лежу — будто сплю. Так она мне всех котят и перетаскала, потому под печкой-то им жестко спать, а на войлоке мягко... То ли не дошли зверь!.. И так мне в те поры жаль стало котят, точно вот малых детей... Пошел в сенки, принес им шубу, устроил гнездо, а наутро велел ребятишкам кудели им натаскать под печку-то.

Василиса Мироновна выслушала этот рассказ, не проронив ни одного слова, а потом, зевнув и перекрестив рот, проговорила:

— Что-то ноне, говорят, больно шалют на Старом заводе...

— А вот дошалют! — коротко отвечал старик.

— Ты смотри, Савва, поберегай лошадь-то, — неровен час...

— Куда им, — руки короткие! — самоуве-

ренно отвечал старик, задумчиво глядя на
ОГОНЬ.

IV

Когда я проснулся, солнце уже было очень высоко, и его лучи начинали заглядывать в мой балаган, в котором теперь, кроме меня, никого не было. Я долго наслаждался моим одиночеством, лежа с закрытыми глазами и припоминая все виденное и слышанное мной вчера вечером и ночью. Со стороны леса доносился глухой шум и голоса каких-то птиц. Время от времени по густой траве, которая зеленым ковром покрывала весь лог, волной пробегала лепечущая струя легкого ветерка; она доносила до меня человеческие голоса и какие-то неопределенные звуки, происходившие, как я догадывался, от ударов лопаты по камням. Раннее утро, лучшее время для охоты, я проспал самым бессовестным образом, и мне теперь ничего более не оставалось, как только брести на Момыниху; но мне хотелось остаться пока здесь, среди этой оригинальной группы старателей, — хотелось познакомиться на месте с знаменитыми хищниками, добывавшими золото самым первобытным способом, как добывали его, может быть, еще ар-

гонавты, ездившие на край света за золотым руном. Старатели — своего рода кроты; они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой золотоносных песков. Дело в том, что старатель обыкновенно работает в одиночку, много втроем или вчетвером, очень редко целою семьей; все золото или платину, которую он намочет в течение недели, он обязан сдать на ближайший прииск, где помещается контора арендатора, взявшего на откуп известную местность. Старатели обыкновенно люди очень бедные и поэтому не могут делать серьезных разведок и, кроме того, вырабатывают только лучшие места и то кое-как; такую работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематической разработке больших компаний. Старатели иногда разом открывают несколько отличных россыпей, но, не имея собственных средств для их разработки, скрывают их от разведочных компаний с замечательною ловкостью, распускают ложные слухи и не чуждаются даже подкупов; разведки производятся при помощи этих же старателей. Вред ста-

рательских работ, о котором громко прокричали горные инженеры и о котором мы сейчас только говорили, вещь еще очень сомнительная и требует серьезного исследования. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с тою лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей.

Выйдя из балагана, я принужден был на время совсем закрыть глаза, — так ослепительно светило солнце, стоявшее над головой. Саженьях в двухстах от меня, на берегу маленькой речки, терявшейся в зелени осоки, лопушника и кустов ивняка, мои вчерашние знакомые били шурф. Куфта лежала на небольшом бугорке и подозрительно следила за мной. Ей очень хотелось броситься ко мне с оглушительным лаем и даже, может быть, вцепиться своими белыми зубами, но, посмотрев вопросительно на хозяина, она оставила свое намерение и с легким ворчаньем улеглась на прежнее место, продолжая наблюдать за мной на всякий случай. Эта карти-

на глубокого лога, с группой хищников-старателей в центре, точно была вставлена в темно-зеленую раму густого сибирского леса, из-за зубчатой линии которого на севере подымались волнистые силуэты Уральских гор, подернутых синеватою дымкой. Я долго любовался этой чудной картиной далекого севера, так и просившейся на полотно, и затем отправился к старателям.

Василиса Мироновна стояла по грудь в какой-то яме, имевшей форму могилы, откуда и выкидывала железною лопатой песок серого цвета. Кудрявый, русоволосый мальчик отгребал песок от краев ямы и накладывал его в тачку. Калин Калиныч тоже не оставался без дела; пот с него катился градом, лицо было красное, как только что отчеканенный пятак. Но толку от его работы было, вероятно, очень мало, и он только мешал другим работать. Смешно было видеть, как эта хлопотливая фигурка то тащила какую-то доску, то заглядывала в яму, то петушком забегала вперед старика, катившего тачку с песком, и все это делалось от чистого сердца, с искренним желанием помочь, принять участие в работе

других.

— Бог на помощь! — поздоровался я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик; он с легким напряжением катил свою тачку по узкой дощечке и с особенною ловкостью вываливал из нее песок, точно вся эта работа была для него игрушкой.

— Ты, барин, поздно же помогать нам пришел, — заговорила своим певучим голосом Василиса Мироновна. — Только ты в нашу работу не годишься, — работа тяжелая, а ножки у тебя тоненькие: того гляди, надломятся. Помоги лучше вон Калинычу, — он, сердешный, совсем замаялся, с самого утра мешает нам работать...

— Уж можно сказать-с, — вступился Калин Калиныч, отирая пот с лица, — уж точно-с, ежели Василиса Мироновна что скажут-с... Хе-хе-хе... — и Калин Калиныч только развел ручками, с умилением посмотрел на всех и неожиданно добавил: — Очень жарко-с!..

— А ты бы, Калиныч, угостил барины-то, чем бог послал, — заговорил старик, делая мне смотр своим единственным оком. — Отпустил бы я Гришутку, да работой тороп-

люсь, — надо пробу сделать...

— Хорошо, я это все мигом оборудую-с...

Гришутка, мальчик лет тринадцати, был отлично сложенный ребенок: ширина плеч и высокая грудь, так и вылезавшая из-под ситцевой рубашки, красноречиво говорили о завидном здоровье; но смуглое лицо с серыми глазами было серьезно, даже строго не по летам. Он продолжал свою работу с сосредоточенным видом, как большой, точно не замечая, что говорили о нем.

Немного постояв, мы с Калином Калинычем направились к балагану. В моем ягдташе лежал рябчик. Старик, усевшись на корточки, не без искусства принялся жарить его прямо в золе, не ощипав перьев и не выпотрошив. Эта операция требовала известной ловкости, потому что рябчик, завернутый в широкие листья какой-то травы и зарытый в золу, все-таки мог сгореть самым незаметным образом.

— Ты когда, Калин Калиныч, научился рябчиков-то жарить? — невольно спросил я.

— Я-с?.. А Савва Евстигнейч научили-с, то есть собственно у Гришутки-с... Очень смысленный мальчик!..

— А кто этот Савва Евстигнейч? Я что-то не припомню.

— Савва Евстигнейч?.. Они-с, допреж этого, больше извозом занимались, а теперь вот лет с десять так живут, отдыхают, а вот теперь надумали искать платину... Такой уж неспокойный старик и есть!

— Савва Евстигнейч из Старого завода?

— Точно так-с, все старозаводские-с.

— А Василиса Мироновна зачем здесь?

— Так-с, у них дела-с... Можно сказать — удивительная женщина! — с одушевлением заговорил старик и, разведя ручками, прибавил: — Душа у них — золотая душа-с!

Я видел, что Калину Калинычу строго-на-строго заказано было развязывать язык, поэтому и не стал продолжать дальнейших расспросов. Рябчик тем временем поспел, и мы его разделили по-братски, а затем, запив его кваском, растянулись в тени балагана, отдавшись каждый своим думам. О чем думал Калинин Калиныч, трудно было догадаться, тем более что на его говорливые уста наложена была печать молчания самой Василисой Мироновной, каждое слово которой было для него законом. Я старался ни о чем не думать и просто любоваться синевою неба, зеленью леса, блеском солнца, отдыхая душой среди этого простора живой чудной природы севера. Но такое желание оказалось решительно неосуществимым. И пыхтевший рядом Калинин Калиныч, видимо, угнетаемый обетом молчания и сгоравший от желания поговорить со

мною по душе, как со старым знакомым, и мелькавшая невдалеке группа старателей — все нагоняло вереницу мыслей. Среди самой глуши леса неожиданно натолкнулся я на самую странную комбинацию человеческих существ, тайну которой чем дальше, тем сильнее хотелось разгадать, и вместе с тем не хотелось вмешиваться в жизнь этой кучки людей, нарушать их покой. Одно только было для меня ясно, как день, именно, что не простая случайность соединила этих людей между собою, что какая-то тайная причина связывала их и не имела ничего общего с их старательством. В самом деле, какие интересы могли соединить эту энергичную женщину, раскольничьего попа, с простяком, светлою душой, Калином Калинычем, и, далее, какая связь могла быть между ними и Саввой Евстигнейчем, этим загадочным стариком-старателем? Наконец, зачем у этого мальчугана Гришутки такое преждевременно серьезное лицо? Пока я напрасно ломал голову над этими вопросами, солнце поднималось все выше и выше, и, наконец, его лучи добрались и до нас с Калином Калинычем. Я старался выдер-

жать характер и терпеливо жарился на солнечном припеке. А Калин Калиныч даже наслаждался солнечною теплотой, которую с таким обилием посылало ему само небо.

— Этакая благодать-с, — заговорил он, наконец, поворачивая другой бок на солнце. — Ей-богу-с, истинная благодать-с! Эко, подумаешь, у господ простору-то, воли-то, а нам все мало, все грешим, все недовольны... Эх, грехи, грехи!.. Вон пташка поет, козявка всякая стрекочет, а солнышко!.. Больно уж я люблю его. Господи, помилуй! Господи, помилуй! И в писании говорится: «Воззрите на птицы небесные: не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает их. Воззрите на полевою лилию: и Соломон во всей славе своей не одевался лучше ее». Чудны дела твои, господи, вся премудростию сотворил еси!..

Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника, лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно он, в соприкосновении с матерью-природой,

переродился и просветлел каким-то внутренним светом.

— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?

— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливаются медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особенно кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото очень строго судили, не как по нынешнему времени. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.

Калин Калиныч посмотрел на меня, повернулся животом вниз и, положив голову в

свои ладони, как тыкву, продолжал:

— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бе-едовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от приисков совсем и отстали, стали водкой заниматься, — это дело в беспример безопасное и прибыльное, — а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатич, Печенкин то есть, уж старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними. «Что, говорит, подлецы...» Это он Аристар-

ху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба — все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли. Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому — при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, — ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, только за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись, а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с

ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, — вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с... Самое казусное-с дело-с!..

Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:

— А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с... Ей-богу-с! А прежде, бывало-с, хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с...

Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам, надеясь найти защиту от облепившего ее овода.

— Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! — заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.

Он соорудил небольшой костер из старого пня, нескольких полен и дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хвостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.

— А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, — заговорил он, болтая ногами.

— Какую церковь?

— А в память освобождения крестьян-с... Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполнилось, как хлопочем-с. Очень много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу

подходит, — кунпол выводит зачали-с...

— На чьи же деньги эта церковь строится?

— Как на чьи-с? — На мирские-с... Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то...» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по конец жизни... Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчитывает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий говорит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога...» А со стороны сколько на-принимался — страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, — долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.

— А когда будут святить церковь? — спросил я довольно громко.

— Шш!.. — зашипел Калин Калиныч, многозначительно кивая в сторону лога. — Не

любят они меня за эту церковь, гложут-с... Особливо Василиса Мироновна. Она женщина, можно сказать, божественная-с, потому от писания у них разумение большое, а вот этого не выносит-с... Слышать не могут-с, потому как к старой вере большое прилежание имеют, и построение святого храма для них большой соблазн. Василиса Мироновна как об этом предмете начнут с отцом Нектарием разговаривать-с, все равно как книга-с... Ей-богу-с! Как по печатному, так и отчитывают-с, так и отчитывают-с... Отец Нектарий спорит, спорит с Василисой Мироновной, да и скажет: «Вы, Василиса Мироновна, необнаковенная женщина-с!.. Очень свободный разговор имеете и большую смелость».

Мы немного помолчали. Вспомнив рассказ Калина Калиныча об его дочери, я спросил его:

— У вас, Калин Калиныч, кажется, есть дочь?

— Да-с... А то как же-с? — спрашивал в свою очередь старик таким тоном, точно у каждого человека непременно должна быть дочь. — Только много с ней хлопот, с доче-

рью-то...

— Какие же с ней хлопоты, Калин Калиныч?

— А как же-с? Ведь она — женщина, а я в ихнем женском деле ничего не понимаю-с, вот и хлопоты-с... Я одно говорю, а она — другое, да еще скажет: «Вы бы уж, родитель, лучше молчали!» Ей-богу-с! И замолчишь, потому как я мужчина и не могу понимать по женской части. Да и карахтер у Венушки какой-то необнакновенный-с, совсем какой-то неукротительный-с... Да-с. Еще при жизни Матрены Савишны-с это стало заметно. А покойница имела сама карахтер, можно сказать-с, жестокий, так другой раз возьмут Венушку-то, голову защемят-с промеж ног, загнут-с подол-с, да и оштрафуют посредством крапивы-с... Из своих собственных, родительских рук-с! А все из-за чего? Венушка сызмала всем дерзкие слова говорила... Мать-то ее дерет, дерет, а она, как вырвалась, сейчас заскачет на одной ноге, матери высунет язык и свои слова выражать: «Что, натешилась, а? Что, взяла?» Ей-богу-с... Горох у нас в огороде-то был, для Венушки же больше и садили

его, так нет-с, не хочу своего гороху, а подавай чужого-с... Подберет себе компанию мальчишек, да и подобьет всех к соседке горох воровать. Облепихой звали соседку-то, большущая женщина из себя была, а в разуме не тверда-с... Возьмет палку-с, эта самая Облепиха, да с палкой в борозду и завалится, — это ребятишек караулить-с, — а тем это и любопытно-с. Даже до смеху доходило-с... А как мать умерла, Венушка от моих рук совсем отбилась, поступила в учительши, а насчет дерзких слов только слушай-с!.. А ведь я ей что постоянно говорю: «Венушка, удержи ты свой вострой язык, Христа ради! Посмотри ты на меня, ведь я тебе отец...» А она еще хуже от этих моих слов — и пойдет-с, другой раз и меня, старика, до слез доведет. Ей-богу-с! Хоть взять отца Нектария: человек, кажется, божественный и старички, а Венушка выдумала звать их сладчайшим... Разе хорошее это дело-с? Необнаковенный карахтер-с... И другие-то ругают меня, что такую дочь вырастил и что она неукротимо себя держит, а я ихнего дела-с совсем не могу понять-с. Ведь не могу же я голову меж ног да крапивой-с: первое — Венушка

на возрасте-с, девица вполне-с, а второе — мужчине это совестно делать с женским полом...

Намеднись какой-то съезд был у учителей, — продолжал Калинин Калиныч, опять болтая ногами, — множество их собралось на Старом заводе, одолели нас с Евменией, да и народ какой-то оголтелый!.. Были у них там какие-то собрания, начальство приезжало-с. Вот одинова на собрании-то ихний начальник и говорит-с: «А что, говорит, ежели, говорит, я приезжаю в школу раз и застаю учителя не в себе, значит пьяного, приезжаю в другой — опять застаю не в себе, в третий — не в себе, — что, говорит, я должен тогда делать с ним?» А Венушка не сробела, да и говорит: «А что, говорит, делать, к примеру, учительнице, ежели, говорит, приезжает к ней начальство в школу раз не в себе, в другой — опять не в себе, и в третий раз не в себе?..» Натурально, этакое слова не понравились, и Венушке был большой выговор-с, а она только смеется-с. Ей-богу-с!..

Стоявшая над дымом лошадь, сивой масти, с разбитыми ногами и отвислыми ушами,

точно хотела сказать, что она принадлежит не кому другому, как самому Калину Калинычу. Чтобы проверить это предположение, я спросил старика, и лошадь действительно оказалась его. Спустя несколько минут надым пришла другая лошадь, худая, изморенная, с болтавшейся головой на тонкой шее и с волочившеюся длиною цепью, которая тянулась за ней, как змея. Мне невольно бросилась в глаза эта цепь, а затем тонкие, сильные ноги лошади и особенно ее широкая грудь, как-то неестественно переходившая в подобранный живот, какой бывает у загнанных кляч. Это была чистокровная киргизская лошадь по всем признакам — и по большой горбоносой голове, и по длинным, мохнатым, поротым ушам, и по выступавшим углами широким костям передних лопаток и зада.

— Изволили засмотреться на лошадку-с? — прервал мои наблюдения Калин Калиныч.

— Да, странная лошадь!

— Нет-с, она не странная, а золотая лошадь, да-с! — с какою-то гордостью заговорил Калин Калиныч.

— Почему золотая?

— Да так-с... Потому что цены ей нет — вот такая это лошадь! Мало ли лошадей на Старом заводе, на всех других, на ярманках, а такой нет!.. Нет — и делу конец! Вы теперь, ежели случится вам быть на Старом заводе, спросите первого мальчишку: знаешь «Разбойника»? — непременно скажет, что знает. Это такая лошадь, такая лошадь... Еще ни на одном бегу ни одна лошадь не обошла ее; а зимой в санях — да она горит, еретица, в оглоблях-то, огнем горит... Ей-богу-с! А почему ей цены нет?

Я сознался в своем неведении.

— Ах, господи, да неужели не слышали-с? — с каким-то укором заговорил Калинин Калиныч, с сожалением глядя на меня. — «Разбойник» — двужильная лошадь, у ней двойной дух — вот в чем вся сила-то!

— Что это значит двужильная?

— Двужильная-то? Это-с... это, к примеру, выходит так: проехали вы на «Разбойнике» полсотни верст, да ведь проехали вы их в три часа, сейчас остановились; она сейчасдохнет этак тяжело-тяжело раза два, и опять катай на ней пятьдесят верст — стрела стрелой ле-

тит! Вот это и значит по-нашему двужильная лошадь. А силища у ней — ужаси, ей-богу-с!.. Сто пудов семьдесят верст везет без отдыха... Двойной дух — одно слово!

Я с удивлением посмотрел на «Разбойника» и в душе не поверил словам Калина Калиныча.

— А где он достал эту лошадь?

— Достал он ее, сударь мой, в степи, в кыргызах, а как достал, не умею вам сказать-с. Ему тут же, на месте, давали за нее целый косяк лошадей, — не отдал. «Разе я, говорит, сам себе враг?..» Вот он какой, Савва-то Евстигнич!..

«Разбойник» стоял под самым дымом, полузакрывши глаза и слабо отмахиваясь коротким хвостом от жужжавших насекомых, и сколько я ни рассматривал его, решительно ничего не мог найти, кроме несоразмерно сильно развитой грудной клетки и несоразмерно тощего живота. Таких киргизских лошадей я видал очень много на Урале.

Полежав еще немного у балагана, я отправился опять к работавшим у шурфа. Василиса Мироновна оставила свою работу и теперь отдыхала, лежа на траве; Гриша лежал тоже, заслонив глаза от солнца рукой; Савва Евстигнеев, в двух шагах от них, сидел на берегу речки, с громадным ковшом в руках, в котором промывал содержащий платину песок. Он делал пробу. Промывание песку совершалось очень просто. Старик погружал ковш с песком в воду и там долго мешал в нем песок рукой, отчего муть шла по воде кругами, а собравшиеся наверху камушки старательно выбрасывал вон. В ковше становилось все больше свободного места, так что он во второй половине операции прямо зачерпывал ковшом воды, мешал ее с песком и затем образовавшуюся мутную воду сливал. Через полчаса такой работы на дне ковша осталось только немного песку; старик с особенной тщательностью начал отделять его от появившегося черного песочка, так называемого «шлиха», содержавшего платину. Еще

несколько минут работы — и на дне ковша остались одни «шлихи»; их старик промыл так же, как песок, и затем долго рассматривал на дне ковша какие-то крупинки

— Ну, что? — спрашивала Василиса Мионовна, по обыкновению не поворачивая головы.

— Да кто его знает, — уклончиво отвечал старик, — как будто маненько есть...

— Одна платина? — опять спросила Василиса Мионовна.

— Нет, есть и золото, только больно мало.

Я подошел к старику. На дне ковша лежала платина вместе с крупинками золота. Всего было около четверти золотника. Проба самая богатая, но старик просто притворялся, что платины «как будто маненько есть»... Это общая раскольничья черта — не высказываться сразу; но, с другой стороны, старик, видимо, был недоволен, — значит, он ждал золотой пробы.

— Наврал, страмец! — сердито буркнул он, собирая платину в бумажку. — Проклятый Шинкаренко опять подвел... Золото, говорит, лопатой греби... Ах, он... — И старик завязал

очень крепкое словцо и почесал затылок.

— А ты и поверил ему! — равнодушно говорила Василиса Мироновна. — Кто ищет золота по таким местам? И лес не такой, и земля не такая.

Мы вернулись все к балагану. Я опять наблюдал всю компанию, особенно старика, который меня интересовал очень сильно, потому что, очевидно, он был головой в этой странной компании. Василиса Мироновна принесла из балагана маленькую котомку, из которой достала ковригу ржаного хлеба и белую тряпочку с крупно истолченной солью. Медленно и с покойною важностью отрезала она несколько ломтей во всю ковригу, постлала на траву небольшую синюю скатерть, развернула тряпочку с солью, поставила небольшой зеленый бурачок с квасом, и обед был готов. Старик выбрал самый большой ломоть хлеба, круто его насолил и свистнул резким, далеко раскатившимся свистом. В ответ донеслось радостное ржание, послышался топот, и «Разбойник», подняв голову и раздув ноздри, показался в высокой траве. Не добежав до балагана несколько шагов, он оглядел

всю компанию блестящими, горячими глазами, а затем, как ручная собака, подбежал к старику и дружелюбно положил ему свою голову с поротыми ушами прямо на плечо. Старик ласково потрепал лошадь по шее и начал ее кормить хлебом, отламывая от ломтя, небольшие кусочки. Съев хлеб, «Разбойник» поднялся было на дыбы, точно хотел обнять старика, а потом мгновенно опять скрылся в лес, откуда донесся только его звонкий топот.

— Балуешь ты лошадь, — заметила Василиса Мироновна.

— Не могу сам есть, пока его не накормлю, — улыбаясь, проговорил старик, видимо, довольный и счастливый.

Старик вымыл руки; все встали лицом к востоку и помолились. Все трое принялись обедать, с каким-то благоговением откусывая хлеб и боясь уронить на землю малейшую крошку дара божия. Я залюбовался этою безмолвною трапезой и в душе завидовал аппетиту вкушавших в поте лица хлеб свой; глядя на них, кажется, мертвый захотел бы есть. Хлеб был запит квасом, затем все снова помолились, и торжественный обед кончился. Ва-

сила Милоновна отправила в балаган вздремнуть малую толику, Калин Калиныч зачем-то побрел с Гришуткой в лес, а я остался один с Саввой Евстигнеичем.

— Что, Савва Евстигнеич, будешь работать здесь али нет? — любопытствовал я.

— Да как тебе сказать, и буду и не буду, — охотно заговорил старик, теперь относившийся ко мне с полным доверием. — Проба, пожалуй, и хорошая, да за платину-то нам платят по-сиротски... Ведь золотник-от всего по двугривенному обходится, — какие это деньги?

— Да ведь работают же, значит — выгодно?

— Как не работать — работают, только ведь эта платина для нас распоследнее дело. Есть такие лога, где платина гнездами, — ну, это другой, разговор: тут, пожалуй, и деньги зашибешь. Тоже вот жилой она попадает — тоже из-за хлеба на квас можно биться, а здесь идет россыпью, да и глубоко пески.

— Вы давненько этим занимаетесь?

— Чем это?

— Ну, старательством-то.

— Старательством? — Старик задумался, потом усмехнулся и, посмотрев на меня, заговорил: — Да вот на второй десяток перевалило, как землю рою... Только все это пустяки!

— Почему так?

— Так, — коротко отвечал старик и замолчал, — не стоит говорить... Может, слышал, такая поговорка есть: «Золото роем, а сами голосом воем». Через это самое золото много наших мужицких слез льется.

— Значит, прежде за барином вам лучше жилось? — спросил я, пользуясь случаем. — Ведь барин хлебом кормил и одевал иногда даром.

Старатель долго молчал и потом проговорил:

— Это дело мудреное, а вот я расскажу тебе одну побасенку: она пустая, побасенка-то, а все дело как на ладони. От старых людей она до нас дошла, значит, недаром она была сложена. Видишь, жила у барина одна собака в холе и во всяком довольстве. Пришла зима. Холод, вьюга, а вокруг деревни волки стаями так и ходят, так и ходят... Воют, сердечные, с холоду и голоду, а взять нигде нечего. Вот од-

нажды собака и пошла в лес, а навстречу ей как раз матерой волчице и с голоду зубищами лязгает. Собака посмотрела на него и говорит: «А зачем вы, волки, так по ночам вое-те?» — «А с голоду воем», — отвечал истощенный волк. А собака опять волку: «Отчего же вы не идете в деревню? Стерегли бы двор у какого барина, а он бы вас кормил. Ты теперь, волк, вон как отощал, а тогда бы растолстел, как я...» Волчице усмехнулся и спрашивает: «А на шее у тебя что?» — «Ошейник». — «А для чего он тебе?» — «А когда меня на цепь сажают, так для этого и ошейник». — «Ну, так прощай! — сказал истощенный волк. — Хоть у твоего барина и хорошее житье, а мне все-таки лучше голодному по лесу ходить, чем сытому сидеть на цепи».

Старик замолчал. Эта побасенка очень понравилась мне: она слишком много говорила за себя, и я понимал, что передо мной сидел один из тех «истощенных волков», каких создало крепостное право. «Да, именно истощенный волк, — думал я, со стороны рассматривая своего оригинального собеседника. — Старатель — это именно и есть истощенный

волк, который хищником бродит по лесам, отыскивая свою добычу...»

— Говорят, у вас на Старом заводе много конокрадов развелось? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Да где их нет, мошенников!.. И наши старозаводские больно пошаливают.

— Тебе не случалось с ними дело иметь?

— Мне?.. Нет, раз побывал я в ихних руках. — Немного помолчав, старик заговорил: — Была у Василисы Мироновны буланая лошадка, рублей шестьдесят давана, — тогда еще на ассигнации считали, — вот эту лошадку и стянули, да таково ловко, как в воду канула. Василиса Мироновна туда-сюда, ко мне, выручи... Думаю, дело мудреное, а пособить бабе надо, потому дело женское, необычное. Пошел по знакомым мужикам, толкнулся, — думаю, не пали ли слухи до них. «Нет, говорят, не знаем, а в Куляшево наведайся...» Подумал, подумал, сел на «Разбойника» да в Куляшево. А Куляшево, надо тебе сказать, чисто разбойничье гнездо, разбойник на разбойнице, разбойником понужает, того и гляди, середь белого дня зарежут... Приезжаю в Куля-

шево, к знакомому мужику: «Пособи, родимый, лошадка потерялась». — «Не знаю, говорит, ничего не знаю». У них у всех такая привычка: все «не знаю». А я думаю: «Врешь, негде быть лошади, кроме вас, долгоспинников». Мы их долгоспинниками зовем, потому все до единого так медведями и глядят, точно вот с берлоги сейчас подняли. Пожил я этак денька два в Куляшеве, а толку нет. Купил вина, угостил хозяина и говорю ему: «Скажи, говорю, дядя, где лошадь?» — «Да, ведь не твоя, говорит, о чем печалуешься?» — «Это уж, говорю, мое дело, а твое — скажи, где лошадь». Посмотрел он на меня: «Так и быть, говорит, уважу по старой дружбе; ступай, говорит, к Тишке». Прихожу. «Ладно, говорит, знаю, где твоя лошадь, только, говорит, за труды мне четвертную». — «Ах ты, думаю, разбойник этакий», а делать нечего. «Бери, говорю, синенькую». Поторговались маненько и порешили на ней. Повел он меня во двор: «Ищи, говорит, лошадь, — она здесь». Я поглядел, походил, в конюшне стоит лошадь да не та, а больше негде ей быть. «Разе, говорю, под полом спрятана?» — «Нет, говорит, ищи». Смот-

рю, стоит амбарушка махонькая-размахонькая, в какой овец держат, — ну, и дверь проделана тоже махонькая. Я раньше поглядывал на эту дверку, да думаю, буланка — большая лошадь, а тут и овце едва пролезть. Смотрел, смотрел на меня Тишка, усмехнулся, толкнул дверь ногой. «Вот, говорит, твоя лошадь, получай». Я нагнулся, заглянул в клетушку: точно, буланка Василисы Мионовны стоит и сено жует. «Ах вы, разбойники, думаю, куда эту лошадь затащили, а вот как, мол, вы ее оттедова добывать будете». Так они, подлецы, что сделали: взяли ее повалили, связали да из хлева-то на катках и выкатили. Взял я эту самую буланку, да подобру-поздорову домой скорей, а этот еретик Тишка и говорит: «Напредки, говорит, не объезжайте мимо-то». — «Ладно, мол, добрый человек, как ни на есть, ежели доведется, так десять верст околицы мимо вашего проклятого гнезда». — «Хорошо, — говорит Тишка, — не больно закаявайся, — к нам и получше тебя ездят, — а то, говорит, мы шутить не любим».

Старик задумался, а потом улыбнулся и, подняв единственный глаз на меня, прогово-

рил:

— А ведь эти долгоспинники тогда чуть-чуть меня не порешили...

— Это как?

— Самым простым манером, только «Разбойник» вынес, — не без гордости проговорил Савва Евстигнейч. — Как выручил я от Тишки лошадь, сейчас же и собрался в дорогу, а был уж час девятый на дворе, по летнему делу смеркаться начинало. Уговаривал было меня хозяин остаться переночевать, да уж больно было мне муторно глядеть-то на них, разбойников! «Не пришлось бы воротиться, — говорит мне хозяин, — дорога-то больно плоха, своротов много». — «Нет, мол, видно не доведется воротиться, а дорогу, мол, лучше тебя знаем». Еду. Отъехал верст с пять — стемнело. Опустил поводья, думаю, «Разбойник» сам дорогу найдет, потому ночью видит, как все равно кошка, и по духу знает, куда ехать. Только задумался я этак маненечко, а дорога шла под гору, да такая скверная, только чертям ездить, — вдруг из стороны прямо к «Разбойнику» двое за повод хватить!.. «Ах вы, еретики этакие! — кричу им. — Что вы, кричу, ока-

янные, делаете? Я вот вам!» А у самого и обронки-то никакой в те поры, как нарочно, не случилось... «Разбойник» сейчас на дыбы да одного ножкой — чук! — тот кубарем и скатился под гору, а сам вперед. Только гора крутая-прекрутая, и ходу нам, окромя шагу, нет, да и то гляди в оба, шею как бы не сломать. Спустились мы таким манером в лог, — глубокий такой лог, — опять из стороны кто-то как хлопнется под ноги «Разбойнику». Другая бы лошадь десять раз сбросила, а «Разбойник» только перескочил и опять вперед. Думаю, дело плохо, — пожалуй, ни за грош порешат. Пригнулся я к самой шее «Разбойника» и думаю: «Ну, теперь сослужи мне службу, вынеси, — озолочу». Только стали подниматься в гору, опять на дорогу: хлоп! — опять «Разбойник» перескочил, а я слышу, начинает лошадь сердиться, храпит, дрожит. Только бы, думаю, на гору подняться, а там поминай как звали! А они, еретики, догадливы были: как только стал я подъезжать наверх-то, слышу, точно в стороне опять что-то потрескивает, а сам лежу на «Разбойнике», прильнул, сердце так и бьется. Вдруг поперек дороги двое на ло-

шадях: значит — ни взад, ни вперед. Делать нечего, сотворил про себя молитву, погладил «Разбойника» по шее, а сам по-разбойничьи на один бок свесился да как свистну. «Разбойник» — вперед, да и полетел, что твой ветер, а они нам вдогонку давай палить. Так ты не поверишь, эти двадцать верст до Старого завода мы сделали в полчаса, даже меньше, чем в полчаса. Погнались было за нами, да на двух верстах отстали. Приехали мы домой целы и невредимы и буланку привели. Привязал я «Разбойника» к столбу, — весь в мыле, сердечный, — снял шапку да в ноги ему, ей-богу, так и повалился в ноги. «Спасибо, говорю, сослужил ты мне службу верой и правдой! По конец жизни буду помнить твою службу!»

Старик замолчал и, низко свесив голову, о чем-то задумался; вероятно, пред ним протянулись другие воспоминания долгой, полной приключениями жизни. Он в теперешней своей позе так и просился на картину: ворот красной рубахи был расстегнут и открывал могучую, обросшую волосами, грудь; загорелая широкая шея точно была отлита из бронзы; седая окладистая борода и седые брови

несколько смягчали эту ничем не сокрушимую силу в образе человеческом. Старик долго и сосредоточенно смотрел своим одиноким глазом, пока я не прервал этого молчания вопросом, где он достал свою лошадь.

— Это было лет семь тому назад, — заговорил старик, — я тогда с гуртовщиками ходил в степи. Гнали из-под Семипалатинска косяков пять лошадей в Старый завод на ярмарку. Дело было на полдороге. Стали нас больно обижать кыргызы, все ладили отбить лошадей, да не удавалось... Больно уж один надоел: и день и ночь так и вертится у нас в глазах. Мы уж думали, что это дьявол, а не человек, потому то назади нас, то впереди, и не одву-конь, а все на одной гнеденькой лошаденке, как бес перед заутреней, вертится... Уж мы его ловить пытались, пытались, — куда тебе! Гикнет по-ихнему, да как сквозь землю и провалится... Ищи его по степи-то. Скорее ветер догонишь, чем его, окаянного... А хозяин над нами потешается: «Куда-де вам, вахлакам, кыргыза ловить». И так это мне обидно стало, что даже ночью, проклятый, снился, а под конец я из-за него и пищи-то лишился: есть не

могу, спать не могу, тоска напала, и все думаю о лошади, каким бы ни на есть манером добыть ее из-под кыргыза.

Старик замолчал, а потом совершенно другим тоном добавил:

— А ведь я этого самого кыргыза пристрелил...

Я долго рассматривал выражение лица Саввы Евстигнейча: хоть бы малейшая тень, хоть бы одна морщинка, — нет, такое же доброе, хорошее выражение на лице, как ночью, когда старик рассказывал Василисе Мироновне о котятках.

— Тебе не жаль его?

— Кого это?

— Ну, да киргиза, которого...

— Которого я убил?.. Да чего мне его жалеть-то? — с удивлением заговорил старик.

— Как чего жалеть?.. Да ведь он — человек?

— Ну, уж это ты, барин, напрасно, — заговорил старик, обидевшись и с некоторым сожалением глядя на меня. — Какой же он человек? Я лошадь пожалею, собаку пожалею, потому они хозяина знают и добро помнят, а

кыргыз — што? Кыргыз — нехристь, погань, значит, туда ему и дорога!.. Они нашего брата не больно жалеют... В степи-то один бог да Никола, — твори, чего хочешь!

Я несколько успокоился, потому что подобное рассуждение походило хоть немного на логику, но расспрашивать дальше об обстоятельствах, сопровождавших приобретение лошади, я не имел желаний.

Солнце начинало уже клониться к горизонту, зной летнего дня заметно спадал, — значит, пора было отправляться в дорогу. Еще раз расспросив старика подробно о дороге, я начал с ним прощаться.

— Погоди, востроногой! — слышался из балагана голос Василисы Мироновны. — Опять, пожалуй, заплутаешься... Нам с Калинычем тоже пора отправляться, — дойдешь с нами до поворота на Момыниху, а там уж слепой выйдет.

Мне пришлось только согласиться на это приглашение.

Лошади были скоро оседланы, и, простившись со стариком, мы втроем двинулись в путь. Балаган со стариком и мальчиком

скрылся из наших глаз на первом повороте едва заметной лесной тропинки, по которой мы взяли наш курс. Василиса Мироновна ехала настоящей амазонкой на своей буланке, — вероятно, той самой, о которой рассказывал старик. Сидела она в высоком киргизском седле по-мужски, молодцом, хоть это и не совсем гармонировало с ее кубовым сарафаном и темным платком на голове. Калин Калиныч, видимо, никогда не ездил верхом и сидел на своей убогой сивенькой лошадке как мешок, набитый травой. Василиса Мироновна ехала впереди, я старался держаться с нею наравне, а Калин Калиныч замыкал эту торжественную процессию.

— Вы куда же это едете, Василиса Мироновна? — спросил я свою спутницу.

— А тут есть в горах одна могилка, старца Антония, так вот мы туда едем.

— Зачем?

— А на поклонение, — весело отвечала Василиса Мироновна. — Там наших об эту пору, под Петров день, видимо-невидимо собираются, тыщев до трех.

Всю дорогу до Момынихи мы проболтали

самым веселым образом, так как у нас нашлось очень много общих знакомых. Калин Калиныч иногда вмешивался в наш разговор, но больше молчал, потел, вздыхал, кашлял, постоянно утирался своим платком с изображением сражения, сморкался прямо в физиономию какому-то сердитому генералу и не пропускал случая в приличных местах посмеяться дребезжавшим, с проскакивавшими детскими нотками смехом.

— Вот и Момыниха! — заговорила Василиса Мироновна, когда наша тропинка начала огибать какую-то гору и направо отделила другую дорожку. — Вот ступай направо, — прямо на Момыниху и выйдешь.

— Спасибо, Василиса Мироновна! Прощайте.

— Ладно, не поминай лихом, а когда будешь в Старом заводе, не проходи мимо моей-то избушки! — весело прощалась со мной Василиса Мироновна.

Я свернул на новую тропинку, а моя мужественная спутница продолжала путь в сопровождении своего мешковатого рыцаря. Я остановился и долго провожал глазами эту

странную пару, пока она не скрылась в лесу, смешанном из елей, сосен и берез.

VII

Старый завод облепил своими бревенчатыми домиками подножие двух высоких гор, которыми заканчивалось одно из бесчисленных разветвлений восточного склона Уральских гор. Небольшая, но очень богатая водой река Старица образует между этими горами очень красивый пруд, уходящий своим верхом верст за пятнадцать, внутрь Уральских гор, занимая глубокую горную долину, обставленную по бокам довольно высокими горами и дремучим лесом. Около этого пруда столпились главным образом заводские домики, точно все они сейчас только вышли из воды и не успели еще вытянуться в длинные и широкие улицы. Эти скучившиеся по берегу пруда домики, собственно, и составляли ядро Старого завода, около которого постепенно отлагались позднейшие наслоения построек, образовавшие уже правильные длинные улицы, пока крайние домики не уперлись совсем в линию синевшего невдалеке леса, а другие совсем вползли на гору, точно их вскинуло туда какою-нибудь сильною волной. Издали

вид на Старый завод очень красив: зелень леса, синева неба, пестрота строений — все это смешивается в оригинальную картину, которая целиком отражается на блестящей поверхности пруда, особенно рано утром, когда еще ни одна волна не поднята ветром и вдали пруд подернут туманною дымкой. Одна из гор, у подножия которых раскинулся Старый завод, стоит еще наполовину в лесу, от которого на самой горе остался лишь небольшой гребень; эта гора составляет главную силу и источник богатства Старого завода, потому что почти вся состоит из богатейшей железной руды. В настоящее время знаменитая гора представляет из себя что-то вроде громадной цитадели с полуразрушенными бастионами и высоким желтым валом кругом. Под горой стоит несколько высоких труб, вечно дымящихся и по ночам выбрасывающих целые снопы ярких искр: это — преддверие знаменитого рудника, бесчисленными галереями раскинувшегося под землей, на глубине восьмидесяти сажен, точно нора какого-то подземного чудовища. Длинная плотина соединяет обе горы; к ней прислонилась гро-

мадная фабрика со множеством черных высоких труб, пять доменных печей и несколько отдельных заводских корпусов, издали смаживающих на казармы. Несколько глубоких и длинных сливов проводят воду из пруда на фабрику, где, повернув бесчисленное множество колес, шестерен и валов, эта живая сила природы, наконец, вырывается из железной пасти чудовища и с глухим рокотом катится далее, разливаясь в зеленых берегах и принимая прежнее название Старицы.

Мне несколько раз случалось бывать на Старом заводе, и всякий раз меня преследовала мысль о том будущем, которое должно определиться для его населения, о тех рамках, в которые должна будет вылиться его жизнь с отменой крепостного права, введением новых судов, земских учреждений, народного образования и другими условиями новой жизни. Процесс Гвоздева и Печенкина обещал раскрыть много интересных бытовых сторон в жизни Старого завода, поэтому я, закинув маленькое заделье, воспользовался удобным случаем еще раз побывать в нем.

Мне пришлось остановиться в небольшой

гостинице с номерами для приезжающих. Эта гостиница носила многозначительное название «Магнит» и составляла часть заводского клуба, в котором по вечерам играла плохонькая музыка; под нее местная публика танцевала, а главным образом — коротала свое время около буфета и за зеленым полем, на котором процветал в полной силе знаменитый сибирский вист с винтом и даже с каким-то «перевинтом». Это скромное времяпрепровождение нарушалось только более или менее сильными скандалами. Героями их периодически бывали то золотопромышленник Печенкин, то мировой судья Федя Заверткин. При магическом посредничестве общего миротворца Пальцева эти скандалы обыкновенно кончались ничем, скоро совсем забывались и тонули в общей скуке монотонной заводской жизни. Мой номер выходил одним окном в сад, упиравшийся тенистыми аллеями прямо в пруд; из другого окна я мог сколько душе угодно любоваться видом Нагорной улицы, проходившей под самыми окнами «Магнита». Наведя справки, я узнал, что процесс Гвоздева отложен еще на несколько

дней, — значит, оставалось или сидеть в своем номере и плевать в потолок, или идти в общую залу «Магнита», он же и заводский клуб, или отыскивать кого-нибудь из старых знакомых. Мой сосед по номеру, какой-то свидетель по делу Гвоздева, с первых же часов моего пребывания в «Магните» сделался моим явным врагом, так как имел прескверную привычку так громко сморкаться, чихать, вздыхать и охать, что хоть бери другой номер или беги на улицу. Я выбрал последнее, вспомнив Калина Калиныча, навестить которого теперь выпал такой удобный случай. Адреса Калина Калиныча у меня не было, но я кстати вспомнил его рассказ о строившейся под его надзором новой церкви и решил идти туда.

Нагорная улица одним концом своим подходила к самому пруду, образуя большой рынок, по-заводски — «базар». Отсюда я увидел на противоположной стороне пруда, на небольшом возвышении, строящуюся церковь, покрытую доверху лесами, по которым, как муравьи, ползли рабочие взад и вперед. Пройдя длинную заводскую плотину и мино-

вав громадную площадь, с угольными валами и бесконечными поленницами дров, я начал подыматься к возвышению, на котором строилась церковь. За паутиной лесов трудно было разглядеть все детали этого храма свободы, но по форме уже выведенного купола и по фигуре высокой колокольни можно было вперед сказать, что это была церковь самой обыкновенной формы неуклюжего корабля, по образцу которой выстроены почти все храмы по широкому лицу земли русской и дальше которой не поднимались мечты Калина Калиныча и о. Нектария. Войдя в черту дощатой ограды, я спросил первого попавшегося рабочего, где мне найти Калина Калиныча.

— Он в кунполе, — бойко отвечал разбитной вятский каменщик.

Пришлось подниматься по сколоченным на живую нитку переходам в самый «кунпол», но делать нечего, — не идти же назад в «Магнит», чтобы снова слушать сморкание и кашель моего врага-соседа. Благополучно минуя первый этаж церкви и осторожно обойдя попадавшихся рабочих с тяжелыми ношами кирпича, извести и песку, я, наконец, добрал-

ся до «кунпола», где действительно и нашел Калина Калиныча. Старик обрадовался мне, как родному, и чуть не бросился меня обнимать, так что я даже был смущен до некоторой степени детской радостью этого «простеца».

— Ах, батюшка, да как же это вы-с, можно сказать, вот досюда... уважили-с!.. — говорил Калин Калиныч, указывая своей коротенькой ручкой на свою шею, обмотанную шарфом, хотя стояли еще последние числа августа и было очень тепло. — Вот-с, господь привел, и кунпол вывели по грехам нашим-с... Извольте видеть, какая махиница-с!..

Я похвалил постройку. Старик как-то растерялся и смущенно залепетал:

— Да, да-с, все ругают-с, все подсчитывают-с, а вы — посторонний-с... И отец Нектарий говорили недавно, чтобы как ни на есть еще потерпеть, потому дело к концу подходит... Не для себя трудимся, да-с... А я сейчас домой собрался, — вот и отлично-с... Мы и чайку попьем и покалякаем-с! Очинно вами благодарен, что не забыли старика...

Я присел на доску и просил Калина Кали-

ныча не торопиться; но старику не сиделось на месте: он пропал на несколько времени в амбразуре громадного окна, кубарем покатылся по лесам вниз, через минуту снова спускался уже откуда-то сверху, по доске, гнувшейся под его тяжестью.

— Как можно-с, как можно-с? — бормотал старик, засовывая в карман засаленную тетрадку. — И днюем, и ночуем здесь... Как же можно-с: бывает и свинье праздник, можно сказать-с... Как же не торопиться-с!..

Через четверть часа мы уже шли по одной из широких заводских улиц по направлению к руднику. Калин Калиныч не переставал говорить всю дорогу, по временам забегая немного вперед и заглядывая мне в глаза.

— А вы к нам на дело Гвоздева-с? — спрашивал он, усиленно семеня своими коротенькими ножками. — Преказусное дело-с... Одних свидетелей человек полсотни вызвали, адвоката из столицы выписали-с... Какой-то Праведный... Ей-богу-с! Фамилия такая-с: Праведный...

С грохотом прокатившаяся мимо пролетка заставила Калина Калиныча снять свой кар-

туз и низко поклониться; я едва успел рассмотреть плотного седого старика с вросшею толстой головой в плечи и высокого, красивого мужчину лет под пятьдесят с кудрявыми волосами. Отличная серая, в яблоках, лошадь неслась вихрем, и пролетка на лежачих ресорах скоро скрылась из вида.

— Знаете, кто это проехал? — спрашивал Калин Калиныч. — Это Евдоким Игнатъич-с...

— Печенкин?

— Да-с, они самые-с... А с ними Хряпин.

— Это тот Хряпин, из-за которого вышло дело?

— Они самые-с... Только они теперь служат у Евдокима Игнатъича-с и вместе по свидетелям объезжают, значит. А вот мы и дома-с... Милости просим!..

VIII

Мы остановились у небольшого деревянно-го домика в три окна. Калин Калиныч отворил калитку и вежливо пропустил меня, как гостя, вперед. Небольшой запущенный двор, с старыми службами назади, не представлял ничего привлекательного; везде сор и «мерзость запустения». Выскочила какая-то хромая собака, повиляла хвостом, посмотрела на нас слезившимися глазами и побежала обратно, под старое крыльцо. Одно окно избышки выходило на двор и было отворено; из него доносились треньканье гитары и женский контральто, напевавший балладу Гете:

*Родимый, лесной царь со мной го-
ворит,
Он золото, радость и перлы су-
лит...*

Калин Калиныч успел уже взбежать по покосившимся ступенькам своего ветхого крыльчика и, приотворив двери в темные сени, ждал меня с сияющей улыбкой. Заметив мой вопросительный взгляд, он поспешил меня

успокоить:

— Это Евмения моя балуется-с! Уж извините-с!..

Нагнувшись, мы вошли в низкую, но довольно светлую комнату, разделенную тонкою перегородкой на две половины. Стены были оклеены дешевенькими обоями; мебель была сборная; на стенах висели лубочные генералы и архиереи, сердито оглядывавшие друг друга; в переднем углу стоял деревянный простой стол; над ним чернели старинные образа и слабо теплилась лампада. На небольшом диванчике, стоявшем у перегородки, лежала с гитарой в руках белокурая девушка. Она даже не повернула головы, когда мы вошли в комнату.

— Вот, Венушка, господь гостя нам прислал-с, — заговорил старик, рекомендуя меня. — Да встань же, Венушка, так нехорошо-с...

Евмения медленно поднялась с своего дивана, несколько раз потянулась, так что у ней хрустнули пальцы, и, кивнув мне головой, как старому знакомому, скрылась за свою перегородку. Одета эта странная девушка была

в черное платье, которое облегалo ее сухую, невысокую фигурку тощими складками и со всем печально болталось около ног, потому что ношение юбок Евмения считала положительным предрассудком. Слегка подстриженные волосы и широкий кожаный монашеский пояс, перехватывавший довольно тонкую талию Евмении, довершали портрет учительницы, обладавшей «необнакновенным характером».

— А уж вы извините-с меня, старика, — вкрадчиво заговорил Калинин, пожимая мою руку. — Я оставлю вас на минутку-с, всего на одну минутку-с!.. Наставить самоварчик надо-с... Уж вы извините за наше убожество-с! Венушка, а ты занимай гостя-с, пока я в сенцах самовар наставлю.

— Вот это мило! — послышался из-за перегородки голос Евмении. — Что я тебе за говорильная машина, которую только завести, она и пойдет молотить... Ты привел гостя, так и занимай сам.

— А это ты напрасно такие слова выражаешь, Венушка, — мягко отвечал старик и, подмигнув мне, прибавил: — Они ведь петер-

бургские-с, образованные-с...

Сняв небольшой медный самовар с печи и не переставая улыбаться и подмигивать мне, старик вышел из комнаты. В дверях перегородки появилась Евмения и пытливо, даже нахально, посмотрела мне прямо в глаза.

— Так вы действительно из Петербурга? Были студентом? — спрашивала она, продолжая глядеть в упор, а когда я ответил на ее вопрос утвердительно, прибавила: — Идите сюда, в мою комнату, — здесь удобнее.

Я повиновался и, сделав три шага, очутился в крошечной комнатке в одно окно. У наружной стены стояла небольшая железная кровать, прикрытая белым, безупречной чистоты покрывалом; подле окна помещался письменный стол, заваленный какими-то бумагами, книгами и фотографиями разных знаменитостей политики и литературы. Над кроватью висела этажерка, туго набитая книгами; на полу лежал тоненький ковер, сильно истерзанный «зубами времени». В этой комнате было всего два стула, из которых на один Евмения села сама, а на другой указала мне. Я только теперь хорошенько рассмотрел

лицо девушки, на котором резко выделялись большие темно-серые глаза и широкий рот с чувственными губами, сложенными самой природой в какую-то вызывающую улыбку. Само по себе лицо Евмении не было ни особенно красиво, ни особенно безобразно, но в нем чувствовалось что-то особенное, оригинальное, что трудно было определить с первого раза. Это особенное выражение лежало на лице легкой, едва заметною тенью; а когда Евмения улыбалась, оно переходило в злобную и язвительную улыбку, открывая два ряда блестящих зубов и зажигая глаза зловецким огоньком.

— Венушка, Венушка! — послышался голос Калина Калиныча. — Где у нас угли-то стоят?.. Уф!.. Совсем задохся с этим самоваром, раздувал, раздувал...

— Ах, отстань, пожалуйста: надоел! — сдвинув густые брови, проговорила Евмения. — Гостеприимство одолело, а толку нет самовара поставить.

— Вот как ты отвечаешь отцу-то! — заговорил Калин Калиныч, выставляя из-за перегородки свою круглую, как арбуз, голову. — А

разе барышни принимают гостей в спальнях?.. Разе это порядок?

— У меня кабинет, а не спальня! — резко отвечала Евмения. — Ты вот ступай к самовару-то, — лучше будет.

Голова Калина Калиныча исчезла, а Евмения закатилась неудержимым смехом, откинувшись на спинку стула и вздрагивая всем своим маленьким телом. Нахохотавшись до слез и закусив нижнюю губу, она несколько времени смотрела на конец своей ботинки, а потом заговорила:

— Вот подите, растолкуйте старику, что я совсем не барышня и совсем не нуждаюсь в соответствующем этикете. Ха-ха-ха!.. Вы не знаете, над чем я так глупо хохочу? Есть здесь один мировой судья, Заверткин, да еще судебный следователь, какой-то хохол шести футов роста и глупый, как индюк... Вот эта почтенная компания и ввалились в одно прекрасное утро в нашу избушку в гости... Дело было вечером, гости засиделись и порешили даже остаться у нас совсем... Конечно, пьяные были, лыка не вязали, — следовало бы просто выпроводить их в шею, и делу конец! Так

нужно было видеть моего папеньку, как он защищал меня... Ха-ха-ха... Этот шестифутовый хохол завалился на мою постель и заснул... Что делать? Я, конечно, сейчас же ушла к подруге и провела там ночь, а папенька — в слезы: главное, что скажут про нас, что у нас Заверткин с хохлом выспались... Вот подите со стариком, с этим воплощением всевозможных предрассудков! Точно и без того не скажут, и точно я нуждаюсь в том, что будут обо мне говорить...

Пока Калинин Калиныч возился около самовара, Евмения успела закидать меня тысячью вопросов, на которые я едва успевал отвечать. Этот разговор вертелся главным образом около Петербурга и студентов, этих двух магических слов, при одном звуке которых у Евмении загорались глаза каждый раз, и она начинала тяжело дышать.

— Хоть бы одним глазком посмотреть, как люди-то живут на свете, — говорила она, ломая пальцы. — А то все равно сгниешь здесь заживо... Как маятник, ходишь из дому в школу, из школы домой. Ведь есть же счастливицы, которые могут жить иначе! Я иногда про-

сто схожу с ума от тоски и злости, а время бежит...

Я с своей стороны поспешил разочаровать Евмению в ее розовых взглядах на петербургскую жизнь; но мои слова были горохом к стене, — Евмения недоверчиво качала головой.

— Нет, нет, это неправда! — заговорила она, раскачивая ногой. — Ведь сюда каждое лето приезжают студенты, и вот когда бывает весело-то... А как на нас здешние дамы злятся, что мы, учительницы, отбиваем у них студентов, — кажется, разорвали бы нас! Ездим в горы, катаемся на лодках, танцуем по восьми часов сряду... Даже жаль вспомнить. Спектакли любительские устраиваем...

Заговорив о театре, Евмения вдруг притихла и замолчала, точно ей было больно говорить об этом предмете. Оживленный разговор вдруг прервался, и девушка, пытливо взглянув на меня, проговорила:

— Вот я болтаю с вами всякий вздор, а вы, наверно, думаете: «Вот еще, в Петербург захотела!..» Ведь думаете, да?.. Я и сама иногда также думаю и даже плачу со злости.

— А вот и поспел-с, кипит-с! — докладывал Калин Калиныч, подавая самовар на стол. — Венушка, ты что же посуду-то не приготовила?.. Ах ты, юла этакая, все у тебя одни разговоры на уме-то да разные пустяки-с!

Евмения встала с своего места и, напевая какую-то бойкую песенку себе под нос, начала доставать чайную посуду из маленького шкафчика. Калин Калиныч был, кажется, особенно в духе и говорил без умолку, только в его разговоре совсем не встречались имена Саввы Евстигнеича и Василисы Мироновны, и он совсем не упоминал о нашей встрече на Балагурихе; зато имя о. Нектария не сходило с языка и служило для старика в одно и то же время и авторитетом, и средством доказательства, и каким-то всевидящим оком. Я понял, что жизнь Калина Калиныча текла именно между этими полюсами — о. Нектарием, с одной стороны, и Василисой Мироновной — с другой.

— А ведь меня притянули в свидетели-с! — говорил Калин Калиныч, добродушно улыбаясь и поглаживая одною рукой свое круглое колено. — Для счету, надо полагать... Гвоздев

говорит: «Я представлю десять человек свидетелей», а Печенкин: «А я пятнадцать»; Гвоздев: «Двадцать человек», а Печенкин: «А я тридцать...» Так до полсотни человек и добились-с!.. О-о-хо-хо! Согрешили мы, грешные, перед господом богом-с! Истинно сказать, согрешили... Последние времена пришли: сын восстает на отца, брат на брата. Да вот хоть мое дело: я — свидетель со стороны Гвоздева, а Венушка — за Печенкина-с... Вот до чего дожили!.. Она будет одно говорить, а я должен говорить другое.

Калин Калиныч тяжело вздохнул и, налив чаю на блюдечко, припал к нему всею физиономией, точно хотел залить в себе горячим кипятком всякое сокрушение сердечное. Было что-то трогательно умиленное в этом человеке, — так сильно он отличался от всего остального мира по своей кротости и полному отсутствию «хватательных и достигательных инстинктов», как выражался один мой хороший знакомый. Как-то хорошо чувствовалось, сидя рядом с ним и слушая его бесконечную болтовню. Крохотная комнатка, добродушное ворчание самовара на столе и Ка-

лин Калиныч с его тяжелыми вздохами и отдуванием пара с блюдечка — все это приводило мысль в идиллическое настроение, которое портила только Евмения: время от времени она начинала бегать из угла в угол и фукала как-то носом, точно кошка.

— А Гвоздев чем занимался раньше? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Я Аристарх Прохорыча еще вот эконьким мальчиком помню-с, — заговорил Калин Калиныч, продолжая в одной руке держать на растопыренных пальцах блюдечко с чаем, а другой отряхивая в него крошки сахара после каждого угрызения маленького кусочка. — Он в мальчиках жил у одного купца-с, так его и звали Аристашкой-с, ей-богу-с!.. Смышленный был мальчик-с... Потом он был приказчиком у другого купца, торговал красным товаром-с, а потом бросил это занятие и в кабак сел сидельцем... На моих глазах все это было-с! Только все это было до воли; а как дали нам волю, тут Аристашка-с и пошел в гору-с, — да так пошел, что всех за пояс заткнул. Теперь их, можно сказать, рукой не достанешь; а уж если они чего захотят, конечно,

будет по-ихнему, — весь свет произойдут наскрозь! Тогда полицию сменили всю, это по делу Печенкина с Хряпиным, а легкое ли это дело — сами, чай, знаете.

Я уж рассказывал вам, что они на золотых приисках нажились, Аристарх-то Прохорыч, — продолжал Калин Калиныч. — А теперь они это занятие совсем бросили, потому хлопот очинно много; водкой не в пример способнее заниматься, потому — прибыль большая-с... Теперь возьмите один Старый завод: на нем одном что этой водки выйдет; а на других заводах, на приисках... И все Аристарх Прохорыч орудуют, все в ихних руках! Пятьдесят тысяч в месяц, говорят, одного акциза уплачивают... И тонко свое дело знают, потому как сами в заведении сидели и всю эту механику в тонкость произошли. Теперь у нас в заводах хоть взять: заработки большие, — другой в одну выписку, это в две недели, рублей сорок зарабатывает, особливо мастера на катальной, в огненной работе, в горе, — так как же тут не пить?.. И пьют-с, очинно пьют! Парнишки в пятнадцать лет — и те пьют. А про рудники и говорить нечего: там

что заработают, то и пропьют, — такое уж об-
накновение-с, потому совсем избаловался на-
род!.. А Аристарх Прохорычу все это на ру-
ку-с... Ах, батюшки, да никак они это сами
приехали-с!.. Вот легки на помине-с, — зале-
петал старик, подбегая к окну. — Так и есть-
с... И Праведный с ними-с... Венушка, Венуш-
ка!.. Ах, батюшки, вот пожаловали неожидан-
но!.. Венушка, Венушка!..

IX

Старик без шапки выбежал на улицу, где остановилась пара наотлет. Из легкой колясочки быстро соскочил мужчина среднего роста с длинною бородой, лет сорока пяти, и вежливо посторонился, давая дорогу громадному росту господину в шелковом цилиндре и золотых очках, еще очень молодому, но чрезвычайно тучному; он едва вылезал из коляски, которая только гнулась и трещала под этим десятипудовым бременем. Первый был сам Гвоздев, а второй, как я начинал догадываться, вероятно, г. Праведный.

— Вот нелегкая несет! Чистая свинья этот Праведный, — ворчала Евмения, нервно ломая пальцы и сдвигая брови.

— Пожалуйте-с, сюда-с!.. Тут потолок-с, Аристарх Прохор... Ах, пожалуйста, нагнитесь сильнее, господин Праведный!.. Не знаю, как вас по имени и отчеству назвать-с, — лепетал Калин Калиныч, отворив дверь пред гостями и почтительно пятясь у них под самым носом.

— Марк Киприяныч, — пробасил г. Правед-

ный, заглядывая в дверь и точно не решаясь войти в избушку.

— Вот и отлично-с. У меня дядю с матерней стороны тоже Марком звали-с. Только он, царство ему небесное, сильно зашибал-с водкой-с... Вы, Марк Киприяныч, вот о полати головкой не стукнитесь... Все собираюсь их как-нибудь убрать-с...

— Ну, здравствуйте, дядюшка! — здоровался Гвоздев с Калин Калинычем и искоса взглядывал в мою сторону.

— Мы, кажется, знакомы? — заговорил Гвоздев своим вкрадчивым, мягким тенором, протягивая мне руку. — Если не ошибаюсь, я имел честь принимать вас в своем доме?

В последний раз я видел Гвоздева лет пять назад, и за эти пять лет он, кажется, нисколько не изменился, по крайней мере не постарел ни на волос, а даже, пожалуй, помолодел и выглядел свежее, только волосы на верхушке головы значительно поредел и образовали довольно почтенную лысину. Широкое лицо Гвоздева, с окладистой длинной бородой, с выдававшимися скулами и широким носом, принадлежало к тому типу русских лиц, кото-

рые Островский в одной из своих комедий называет «опойковыми» и «суздальского письма»; но в этом лице была одна резкая особенность: густые сросшиеся брови и глубоко ввалившиеся небольшие глаза горели напряженно и болезненно и придавали физиономии какой-то неприятный оттенок отчаянной решимости. По своей небольшой фигуре Гвоздев был очень приличен и даже изящен и уж совсем не походил на сидельца, а плавные, мягкие движения придавали ему какое-то особенное чувство собственного достоинства. Когда он начинал говорить, то совсем опускал глаза и старался подвинуться к вам как можно ближе. Эта кошачья вкрадчивая манера и особенно плавные мягкие движения внушали невольное чувство инстинктивного отращения, точно он все подкрадывался и выжидал только удобного момента, чтобы запустить в вас когти.

— Мой поверенный! — коротко отрекомендовал Гвоздев своего адвоката, который только засопел тяжело носом и вопросительно, нагло навел на меня свои навывкате серые глаза; оплывшая, неестественно красная фи-

зиономия г. Праведного не обещала ничего доброго, и на ней была отпечатана невозможная смесь какого-то странного добродушия и невообразимого нахальства.

— Кандидат прав, Марк Праведный, — рекомендовался защитник Гвоздева, протягивая мне свою медвежью лапицу, впору любому бурлаку.

За перегородкой слышалось сдержанное хихиканье, заставившее Калина Калиныча вспотеть лишний раз; но Гвоздев поспешил вывести старика из неловкого положения, проговорив с мягкой улыбкой:

— А где же, дядюшка, моя сестричка?

— На что вам меня? — отозвалась из-за перегородки Евмения.

— Да вот, Марк Киприяныч желают с вами, сестричка, непременно познакомиться...

— А вы в адвокатах, что ли, у Марка Киприяныча? Я полагаю, что у господина Праведного и свой язык есть.

Калин Калиныч лукаво и многозначительно подмигнул мне: дескать, послушайте-ка, какие дерзкие слова Венушка умеет говорить.

— Марк Киприяныч непременно желает

видеть вас, сестричка, — продолжал Гвоздев, на носках подходя к самой перегородке.

— А если я не желаю видеть господина Неправедного? — бойко отвечала Евмения, и за перегородкой послышался ее вызывающе сдержанный смех.

— Силой милому не быть, Евмения Калиновна, — добродушно забасил Праведный, стараясь тоже заглянуть за перегородку.

— Вы исповедовать опять меня приехали, так я же вперед вам говорю, что ничего вам не скажу: ничего, ничего, ничего!.. Понимаете? У вас есть свой свидетель, так и целуйтесь с ним...

Калин Калиныч благочестиво сложил губы ижицей и покачал своей круглой головой на манер тех фарфоровых китайцев, которых выставляют на окнах чайных магазинов.

— Да мы совсем не по этому делу приехали, сестричка, — уверял Гвоздев, балансируя на своих коротких ножках.

— Я вам такая же сестричка, как ваш Неправедный мне братец, — заговорила Евмения, выскакивая, наконец, из своей засады.

— Имею честь представиться: кандидат прав Марк Праведный! — рекомендовался защитник Гвоздева.

— Ах, довольно, довольно! — говорила девушка, задыхаясь от душившего ее смеха. — Где вы, Аристарх Прохорыч, отыскиали такое чудище?

— Из Москвы-с, нарочно выписал, чтобы вам показать, — проговорил Гвоздев с самой утонченной вежливостью, не выпуская руки Евмении. — Даже привез его к вам в дом...

Пока Калинин Калиныч суетился около самовара, Праведный без церемонии подвинул стул к Евмении на такое близкое расстояние, что задевал ее своим толстым, как у слона, коленом; а Гвоздев опять обратился ко мне:

— А вы, вероятно, приехали на суд, да?.. Слушать, как будут меня судить?..

Тяжело вздохнув и опустив глаза, он заговорил взволнованным голосом:

— Да, да, вот до чего дожил, до какого позора! А все из-за чего? Из-за того, что хотел помочь человеку: тонул — топор сулил, а вытащил — топорища жаль... А я думаю так, — заговорил еще тише Гвоздев, придвигаясь ко

мне ближе, — я думаю так: отчего же и не претерпеть за правду? Ведь вот будет суд, будут свидетели, — все будет видно как на ладони, всю подноготную выворотят; а если я ни в чем не виноват, кому будет стыдно, как вы полагаете?.. И я совсем не жалуясь на Евдокима Игнатъича, потому что он, можно так выразиться, действует совсем в ослеплении... Что же? — я не ропщу, я даже рад, что все это дело дойдет до суда и мне дадут законную возможность восстановить свое доброе имя... Ведь они какие слухи про меня распускают, стыдно слушать... Ведь можно, конечно, обмануть одного человека, двух, наконец, трех, а ведь тут будет пятьдесят человек одних свидетелей, — им всем не заткнешь рта. А суд?.. Тут одних юристов человек пятнадцать будет, — все разберут. Все люди образованные, развитые, законы знают, как свои пять пальцев, — от них не увернешься... Это не то, что наш брат мужик, человек темный: куда ведут, туда и идешь, — что сказали, тому и веришь. Не так ли, дядюшка?

— А ведь действительно-с, Аристарх Прохорыч, — умиленно согласился старик, с ка-

ким-то благоговением заглядывая в рот «племянничка», откуда вылетали слова самой мудрости. — Я так полагаю-с, по своему глупому разуму, что Евдоким Игнатъич действительно обижают вас в ослеплении-с...

— Да еще как, дядюшка!.. Вы сами посудите, какую я теперь муку принимаю из-за каких-нибудь тридцати тысяч... Это из-за своего-то капитала я должен мучиться все равно как в аду... Ну, есть ли тут какой-нибудь смысл, дядюшка?

— Истинная ваша правда-с, Аристарх Прохорыч, — говорил со смирением Калин Калиныч, который в присутствии Гвоздева чувствовал себя, кажется, совсем уничтоженным. — А вот чайку-с, Аристарх Прохорыч?

— Отчего же, можно и чайку, дядюшка, — соглашался Гвоздев.

Праведный во время нашего разговора, кажется, успел обделать в исправности все, за чем приезжал, — по крайней мере по смущенному лицу Евмении и по ее опущенным глазам можно было прочесть довольно ясно: «Я — ваша; делайте со мной, что хотите». Разговор с Праведным, приправленный пи-

кантными анекдотами и von mot,[5] привел Евмению в какое-то опьянение, от которого она не могла проснуться; время от времени она вся вздрагивала и заливалась своим неудержимым заразительным смехом, делая Праведному глазки. Калин Калиныч одним ухом тоже вслушивался в этот разговор и пришел от него в такой восторг, что, кажется, совсем позабыл о том, что его Евмения — барышня и что она сидит чуть не на коленях у Праведного. Старик усердно утирал платком свое вспотевшее лицо и, задыхаясь от смеха, шептал одну и ту же фразу: «Вот, можно сказать, уморили-с, с первого разу уморили-с!»

— Марк Киприяныч, стаканчик чайку-с? — предлагал старик.

Праведный вместо ответа продекламировал из «Коробейников» Некрасова четверостишие:

*Ах ты, зелие кабажное,
Да китайские чаи,
Да курение табачное!
Бродим сами не свои.*

— И впрямь: бродим сами не свои, — согласился Калин Калиныч. — Откуда это вы, Марк

Киприяныч, так складно говорить только на-
учились?

— Ученье — свет, почтеннейший Калин
Калиныч! — скромно отвечал Праведный, по-
лузакрывая свои бесстыжие глаза.

— Стаканчик чайку-с прикажете-с?

— Отчего же и не побаловаться китайской
травкой, почтеннейший Калин Калиныч!
Благодарствуйте.

— И вы будете уверять меня, что были сту-
дентом? — спрашивала Евмения Праведного,
кокетливо улыбаясь и делая глазки.

— Даже самым убогим студентом был, —
уверял Праведный, выпивая уже второй ста-
кан с замечательным аппетитом. — Да, да...
Был беднее самого Иова в дни его несчастья,
и представьте себе, какой однажды вышел со
мною преказусный случай. Жили мы, трое
студентов, на Петербургской стороне, на Ма-
лой Дворянской улице, — и как это случи-
лось, право, теперь не умею сказать, — только
в одно прекрасное утро у нас на троих оста-
лось из всей одежды всего-навсе только ста-
рые калоши, поповский подрясник и старая
поповская шляпа... Даже самых необходимей-

ших принадлежностей мужского туалета недоставало, — уж извините, Евмения Калиновна, за мою откровенность! Представьте себе, что происходило, когда одному из нас нужно было куда-нибудь выйти из дому... Но это еще ничего: выходили обыкновенно по вечерам, а история в том, что у меня была невеста, девушка из очень порядочного семейства, которая, не видя меня долго, понятно, очень скучала о моей особе и в один прекрасный вечер вздумала мне сделать небольшой сюрприз: отыскала мою квартиру и явилась, так сказать, на крыльях любви... Представьте теперь мое положение, господа!

— Ах, довольно, довольно! — стонала Евмения, хватаясь за бока. — Довольно!.. У-мо-ри-ли...

— Нет, уж позвольте досказать, — настаивал Праведный, раскуривая сигару. — Вы ничего не имеете против моей сигары, почтеннейший Калинин Калиныч?

— Нет-с, помилуйте-с, — лепетал старик. — Я ведь православный-с...

— Ну, дядюшка, есть грех, немного прикерячиваете, — мягко шутил Гвоздев.

— Ах, Аристарх Прохорыч, вам, ей-богу-с, грешно-с надо мной смеяться...

— Ну, дядюшка, не обижайтесь, я пошутил, — успокаивал Гвоздев огорченного Калина Калиныча.

— Господа, позвольте же мне анекдот-то докончить, — лениво заметил Праведный, попыхивая синим дымком дорогой сигары. — Согласитесь, господа, что моя невеста все-таки была женщина.

— О... ха-ха-ха! — со слезами на глазах хотала Евмения. — Да, конечно, не мужчина же...

— Нет, я не то хотел сказать, — поправлялся Праведный. — Я хотел высказать ту мысль, что моя невеста, как женщина, конечно, была немного ревнива и могла заподозрить меня, по меньшей мере, в том, что у меня в комнате сидит какая-нибудь соперница и что я именно поэтому не отворяю ей двери... Кажется, ясно я выражаюсь? Ну-с, как вы думаете вышел я из этого чертовски затруднительного положения?

— Ах, довольно, довольно, Праведный, — кричала Евмения, кокетливо делая рукой та-

кие движения, как будто отмахиваясь от комаров. — Понятно, что было дальше...

— Нет, уж позвольте докончить, Евмения Калиновна! — упорно настаивал Праведный. — Видите ли, у нас полкомнаты занимала братская кровать, на которой мы все вместе спали, вот я на нее и положил моих друзей, прикрыл их для приличия одеялом, а сам надел калоши и подрясник... Теперь представьте себе такую картину: на кровати из-под одеяла выставляются головы моих друзей, я стою посреди комнаты в поповском подряснике, а в отворенную дверь с изумлением смотрит моя невеста... Понятное дело, что все разрешилось смехом, и моя невеста только лишний раз убедилась, что я невинен, как сорок тысяч младенцев, так как мои товарищи меньше всего походили на женщину: у одного гусарские усы, у другого борода, как у Аарона.

В комнате Калина Калиныча несколько минут стоял заразительный смех: смеялся Гвоздев, с достоинством поглаживая свою бороду, смеялся до слез Калин Калиныч, схватившись за бока и порываясь выскочить из-

за стола, а Евмения, закатив глаза, только тяжело дышала, как загнанная лошадь.

— Ну, не желала бы я быть на месте вашей невесты, господин Праведный, — заговорила Евмения, когда общий припадок смеха немного прошел. — Хоть вы и оказались невиннее сорока тысяч младенцев, но все-таки... Где вы, Аристарх Прохорыч, откопали такого адвоката?

— Москва — очень обширный город, — скромно отвечал Гвоздев. — Там умных людей все равно, как у нас дров...

Посидев еще немного и поговорив о каких-то пустяках, Гвоздев поднялся из-за стола и, обращаясь к Калину Калинычу, проговорил:

— Ну-с, дядюшка, сидят-сидят да и домой ходят... До приятнейшего свидания!..

Праведный долго держал в своих красных лапищах руку Евмении и довольно фамильярно шепнул ей на ухо что-то такое, от чего даже Евмения вспыхнула вся до ушей, а Калин Калиныч строго сложил свои губы ижицей. Простившись, гости вышли в сопровождении Калина Калиныча. Он все время стоял

у ворот, пока Праведный влезал в экипаж. Усаживаясь рядом с Праведным, Гвоздев восторженно посмотрел на своего адвоката.

— Каши маслом не испортишь, — многозначительно проговорил Праведный, не зная, куда деваться с своим ужаснейшим животом, упиравшимся ему в колени.

Когда лошади тронулись, Праведный не менее многозначительно указывал пальцем на свой лоб, кивая головой в сторону избушки Калина Калиныча. Евмения сейчас же скрылась за перегородкой, а вошедший Калинин Калиныч был очень встревожен: обычное неизменное добродушное настроение, казалось, совсем оставило старика.

— Приехали и уехали, — думал он вслух, позабыв о моем присутствии. — Венушка, о чем с тобой шептался этот Праведный?

— Анекдоты, родитель, рассказывал, — отозвалась Евмения усталым голосом из-за своей перегородки.

Я скоро простился с Калином Калинычем. Старик вышел провожать меня на крыльцо и, пожимая мою руку, заговорил:

— Ведь вот какой у меня характер сумни-

тельный: ночь не буду спать, а все буду думать, зачем приезжал этот Праведный... Они, может, и с добром приезжали ко мне, а я все буду сумлеваться, потому больно ноне народ мудреный стал-с. Вот хоть Аристарх Прохорыч: ведь уж знаю-с, что он виноват, во всем как есть виноват-с, а вот поди со мной, совесть уж такая подлая, — как заговорил он давеча жалобные слова, так вот у меня слезы и стоят в горле... Ей-богу-с... О-о-хо-хо! Горе душам нашим. Заходите напредки-то, милости просим! А я сейчас схожу к отцу Нектарию, — надо будет поговорить с ним, а то уж очень сумнительно-с.

Х

Вечером в клубе слышалась музыка и говор. Вот нечего делать я пошел в общую залу, чтобы посмотреть на заводскую публику. Помещение клуба состояло всего из четырех комнат, меблированных с трактирной роскошью. Около стен неизменные диванчики, покрытые темно-красным трипом, венская мебель, затасканные драпировки на окнах, захватанные двери и бронзовая люстра в общей зале. Главную массу публики притягивала к себе карточная комната, а затем буфет. Около девяти часов обычная клубная публика, кажется, была в полном сборе; явились скучающие дамы и кавалеры; последние прежде всего летели, для подкрепления сил, в буфет. Музыка пиликала какую-то чепуху, под которую вяло толклось в общей зале несколько пар.

По дороге в буфет я неожиданно встретил самого Федора Иваныча Заверткина, который тащил под руку Пальцева и издали кричал мне:

— Вот так пьет!.. Отроду ничего подобного не видал: как воду пьет!

— Кто и что пьет? — спрашивал я, не понимая Заверткина.

— Ах, господи!.. Да все он же, Праведный, пьет... Представьте себе такую картину: он без бутылки водки не садится завтракать и подсадит ее один на один, за обедом выпивает таким же образом другую, а вечером еще шампанское душит, и ни в одном глазу... Понимаете: ни в одном глазу?! Это просто какой-то феномен... Да ведь вы только поймите: бутылку за завтраком, бутылку за обедом, вечером шампанское... Да, да, это решительно феномен. В спирт, прямо в спирт бы его следовало посадить, да ведь, каналья, спирт-то весь выпьет... Феномен, решительно феномен!..

Эти два друга представляли и вместе и порознь нечто очень замечательное: Федя Заверткин был тонок, вихляст и высок, горбился и раскачивался на ходу и постоянно вздергивал голову, как взнузданная лошадь; Пальцев, наоборот, был небольшого роста, некрасиво скроен, да плотно сшит, и выглядел кочнем, а когда шел, то имел привычку сильно размахивать руками и слегка переваливал на своих коротеньких ножках, точно откормлен-

ный селезень. Физиономия Заверткина носила на себе ясные следы непроходимой глупости, пошлости и задора; его небольшие слезившиеся серые глазки смотрели нахально до мерзости, а по сморщенным губам ползала отвратительная улыбка, какую смеются только люди глубоко и безнадежно развратные. Круглое румяное лицо Пальцева с рыжими щетинистыми усами было некрасиво, но приятно своим умным выражением; особенно хороши были его насмешливые глазки, юлившие под густыми рыжими бровями, как пара мышей. Пальцев вообще был очень умный человек, но его губил один недостаток: очень добрый и простой человек по душе, он имел удивительную способность врать, — врать до того правдоподобно, что вводил в невольное заблуждение самых осторожных людей, хотя все заранее знали, что верить Пальцеву нельзя. Как добряк и чудак, Пальцев пользовался репутацией доброго малого, которому многое сходило с рук, хотя он своими шуточками часто высказывал горькую правду прямо в глаза.

Поговорив немного с нами, Федя Заверт-

кин неудержимо полетел дальше, вздергивая плечами и вытягивая длинную шею вперед; физиономия его дышала счастьем и довольством, и он, ероша свою козлиную бородку, кричал всем встречным: «Феномен, феномен... Решительно феномен!»

— Пустой колос голову кверху носит, ангел мой, — лукаво заговорил Палецев, подмигивая в сторону Заверткина. — Совсем на чердаке-то пусто...

Тут Палецев соврал что-то совершенно невероятное и побрел в буфет. Музыка продолжала пилить какую-то невозможную польку местного произведения под довольно громким названием «землетрясение». Нетанцующие дамы шпалерой поместились на бархатных диванчиках или парами бродили из комнаты в комнату с безнадежным выражением лиц; танцующая часть прекрасного пола обмахивалась кокетливо веерами и очень походила на тех «живых стерлядей», которые плавают в трактирных аквариумах, с тупым отчаянием стучаясь о толстые стекла. Без крайнего сожаления нельзя было смотреть на этот «букет из полевых цветов», как выразил-

ся Пальцев о старозаводских дамах, козырем выступая под руку с одним из таких полевых цветов, который был чуть не вдвое выше своего кавалера и имел большое сходство с каланчой.

— Вы слышали? — говорила толстая дама другой, тощей, как щепка. — Согласитесь, ведь это ужасно, ужасно!..

Разговор шел о предстоящем процессе.

— Говорят, она подкуплена, — отвечала дама-щепка.

— Да, да... Стриженные волосы, пенсне на носу, учительница и вдруг подкуплена!.. Как это вам понравится? Я думаю, что нынче уж нигилизм не в моде, так вон пошли какие вещи...

— Это ужасно, — шептала дама-щепка, покачивая своей маленькой головой. — Ведь у ней есть отец-старик... Смешной такой, ню очень честный старик. Хоть бы она его пожалела: ведь это убьет его!..

Дама-геркулес только махнула рукой.

Этот букет полевых цветов скоро зашевелился во всем своем составе и зашумел, как листья на осине, когда в общей вале появи-

лась Евмения с своими стриженными волосами, тощими складками платья и пенсне на носу. Все многозначительно улыбались и печально кивали головой, но Евмения, по-видимому, привыкла к подобного рода сценам и шла с замечательным равнодушием сквозь строй косых взглядов, презрительных улыбок и обидных пожиманий плеч. Она кого-то искала глазами и, проходя мимо меня, спросила:

— Вы не видали Праведного?

— Нет. Его, кажется, нет здесь.

Евмения пошла дальше, по направлению к буфету, и толстая дама опять принялась шептать своей соседке настолько громко, что мне было слышно каждое слово.

— Она сначала жила с одним учителем и бросила его, потом связалась с писарем, потом с Гвоздевым...

— Это ужасно, ужасно! — шептала тощая дама, едва шевеля поблекшими губами.

Это было действительно ужасно, если только все это была правда. Мне хотя и не было никакого дела до Евмении, но все-таки было жаль и вместе обидно не столько за эту

странную белокурую девушку, сколько за несчастного Калина Калиныча, которого общественное мнение казнило так безжалостно. Как бы вознегодовал старик, услышав подобные отзывы о своей Венушке!.. А Евмения, обойдя все комнаты, снова подошла ко мне и села рядом на стул; взглянув на меня, она, кажется, догадалась о характере моих мыслей и желчно заговорила:

— Вы, вероятно, довольно наслушались на мой счет здесь, да?.. О, они все точат на мне свои языки... Я всем им — бельмо на глазу. Вот посмотрите на эту толстую и на эту тощую: они от одной скуки рады человека живьем съесть. Эта сухонькая исправно дует своего благоверного башмаком прямо по зеркалу души, а толстая имеет свою довольно пикантную историю, только не стоит говорить, чтобы не быть похожей на них... Знаете, я видела сейчас Пальцева, и он меня уверяет, что Праведный сошел с ума и его приковали на цепь... Ха-ха-ха! Вот уж у кого в зубах не завяжет... Однако Праведный — порядочная свинья: обещал сюда прийти и надул. Посмотрите, вон идет жена Заверткина... Не правда ли,

какая красивая женщина? А рост какой, а цвет лица? Хоть сейчас на сцену.

Жена Заверткина действительно была хороша: высокая, полная брюнетка с темными глазами и ленивыми движениями, она резко выделялась из всей толпы своей статной, красивую фигурой. Она шла в сопровождении какого-то довольно плюгавого молодого человека с небольшой темной бородкой, длинным носом и зеленоватыми глазами.

— А это, знаете, кто с ней? — спрашивала Евмения меня. — Это — директор нашего заводского технического училища... Какой-то грек, Димитраки по фамилии. Этот Димитраки получает ни больше, ни меньше как пять тысяч в год. А за что? Только за то, что умеет кланяться заводским управляющим... А вот подите вы, человек всего только три года как кончил курс в Петербургском университете и теперь загребает деньги совершенно даром, губит целое училище, слывет у нас передовым человеком. Вы представьте себе только, этот Димитраки получит в год, ничего не делая, столько, сколько я должна буду зарабатывать целых семнадцать лет, считая по три-

ста рублей в год, а помощник учителя или помощница, получающие двенадцать рублей в месяц, должны работать целую жизнь. Где только таких берут... Ведь он в училище забрал на себя все предметы и ровно ничего не делает, в класс даже не ходит, а все пьянствует с Федькой Заверткиным. Не правда ли, хороши гуси? Какая здесь отчаянная публика!.. Вон земский доктор: посмотрите, пожалуйста, ведь это целый Олимп, и сам Зевс ему в подметки не годится... А вон еще лучше экземпляр, — пожалуйста, обратите на него все свое внимание: это наш министр народного просвещения. Да, целый министр...

«Министр народного просвещения» в это время с важностью проходил мимо нас вместе с земским доктором. Это походило на триумфальное шествие каких-то двух неведомых божеств или на вступление счастливого победителя в завоеванную провинцию. «Министр» был высокого роста, худой и белокурый человек, лет сорока пяти, с выцветшим деревянным лицом и заложенными, по-министерски, руками за спину. Доктор, черноволосый мужчина с длинным, как огурец, ли-

цом и маленькими глазками, ковырял пальцем в носу и смотрел кругом каким-то убийственно равнодушным взглядом.

— Посмотрите же вы, пожалуйста, на Митрошку нашего! — шептала Евмения, указывая глазами на «Министра». — Из волостных писарей попал в гласные, потом избран был членом земской управы и теперь заведует всеми школами в уезде. Под его ведением находится семьдесят учительниц и столько же учителей; он всем нам говорит «ты» и заставляет дожидаться в передней по нескольку часов. Раз мне нужно было получить жалованье, и я довольно прозрачно намекнула ему на его министерские замашки, а он мне: «Хле-ее-б за-за бррю-хо-ом нне ххо-одит!» — «Извините, говорю, я не знаю, что вы — хлеб, а мы — брюхо». А вы бы посмотрели, как он себя держит в школе, какие нотации читает всем, и главное, придирается к преподаванию, а сам своего имени не умеет подписать. Вместо Митрофан Белохвост пишет Мирофан Белофост... Скотина ужаснейшая и вообще и в подробностях.

— Что же председатель управы смотрит?

— У нас председатель — отличный человек и в такие мелочи не вмешивается. Он — музыкант и играет, кажется, на всех инструментах, какие только существуют. Очень образованный и очень честный человек, но музыка загубила... У нас уж другой такой председатель-музыкант; а пока они играют, Митрошка всем и орудует.

— А я вас давно ищущу, Евмения Калиновна, — говорил Праведный, вваливаясь из боковой комнаты.

— А я вас давно жду, Марк Киприяныч, — бойко отвечала Евмения. — Вероятно, нагружались в буфете... для безопасности?

— По человеческой слабости испиваем сию горькую чашу...

Праведный подал руку Евмении, извинился предо мной, что некоторым образом лишает меня дамы, и эта оригинальная пара направилась к дверям в сад. Евмения гордо откинула свою белокурую головку назад и блестящими глазами смотрела на своего кавалера, который, вероятно, опять рассказывал анекдоты, потому что девушка громко смеялась и недоверчиво качала головой.

XI

Старозаводская jeunesse doree[6] в полном своем составе находилась в буфете, где происходили оживленные разговоры, сопровождаемые самыми обильными возлияниями. Кроме Пальцева, Заверткина, Димитраки, «Министра» и земского доктора, тут присутствовал и сам Печенкин, сопровождаемый, как адъютантами, бывшим исправником Хряпиным и своим поверенным. Среднего роста, приземистый и широкоплечий, с толстою головой и опухшим красным лицом, на котором резко выделялись хитрые маленькие глазки и седая борода, Печенкин был кореным типом русского обстоятельного купечества с сильной азиатскою закваской. Хряпин — очень высокий и когда-то очень красивый человек, с большой кудрявой головой, могучею грудью и тяжелою рукой, от которой, как говорила молва, много пошло туда, где нет ни печалей, ни вздыханий. Около стола, за которым сидел Печенкин, собралась почти вся публика, слушавшая что-то, что рассказывал сам старик, распивая и угощая

всех шампанским.

— На той неделе поехали мы с «Мамочкой» в Загорск, — рассказывал старик, кивая головой на Хряпина, которого он почему-то называл «Мамочкой». — Город большой, мы и загуляли, а вечером — в трактир «Плевну». Ну, там арфянки, всякое прочее. Спели нам, поужинали, побезобразничали, а все скучно... Я и говорю: «Мамочка», скучно... Устрой, говорю, «Мамочка», какое-нибудь безобразие». А он молчит, а потом как сгребет салфетку да обпол всю эту музыку, арфянки бежать, а «Мамочка» поймал хозяина «Плевны», завязал его в салфетку да под стол и затолкал. Арфянки визжат, хозяин под столом орет караул, а мы с «Мамочкой» давай бог ноги... О-ох-хо, согрешили мы, грешные!

«Мамочка» сидел как ни в чем не бывало, jeunesse dorée хохотала до слез, а подгулявший Заверткин от восторга даже полез целоваться с «Мамочкой».

Появившийся Праведный привалил, конечно, прямо к буфету, где около этого столичного светила сейчас же собрался кружок, ожидавший тех удивительных анекдотов, ко-

торые умел рассказывать только один Праведный. Оставленный всеми, Печенкин вылил две оставшихся бутылки вина на салфетку и побрел в сопровождении своих адъютантов в общую залу, где происходили танцы. Заверткин заглядывал прямо в рот своему идолу и глупо хохотал, как человек, которому щекотят подошвы; Пальцев поместился рядом с Праведным и, подмигивая одним глазом, говорил:

— А ведь, ангел мой, отлично вам живется на свете: сколько одного вина, ангел мой, выпьете. Вот про нас одних разговоров сколько: становой, говорят, черту брат, и еще прибавят, ангел мой, такое что-нибудь, что сквозь землю провалиться... Всякий на тебя пальцем указывает: становой, с живого и мертвого дерет!..

— Ну, и у нас это бывает, — хладнокровно отвечал Праведный, выпивая свою вечернюю порцию водки. — Желал бы я вас поставить на мое место... Мне недавно, например, пришлось защищать одного субъекта, который обвинялся в убийстве. Дело в том, что двое крестьян убили третьего, который умер дома

от пролома головы, и мне нужно было доказать только то, что мой доверитель в момент убийства находился на другом конце деревни, чем убитый...

В этот момент со стороны танцевальной залы послышался какой-то шум, крик и визг; все бросились из буфета.

— Ах, это опять Печенкин бушует, ангел мой, — озабоченно говорил Пальцев, направляясь на шум вместе с другими.

Скоро вся публика собралась в общей зале, где кучка дам боязливо столпилась в одном углу, а мужчины стеной окружили небольшую деревянную эстраду, на которой помещался оркестр.

— Русскую!.. Я говорю: русскую! — кричал Печенкин, стуча кулаком по столу. — Всех вас одним узлом завяжу... Русскую!..

— Нельзя-с, мы играем по расписанию-с, — вежливо отвечал капельмейстер.

— Ах, ангел мой, так нельзя! Нельзя, ангел мой! — кричал Пальцев, продираясь сквозь толпу к Печенкину. — Здесь общественное место, ангел мой, дамы...

— А мне наплевать на ваших дам! — кри-

чал старик. — Я весь бал за себя переведу... Сколько стоит все: получай и гуляй в мою голову, почтенная публика. Руськую!..

Пальцев немного пошептался с распорядителем и махнул музыкантам рукой; музыка грянула «Камаринскую», публика расступилась, и неистовый старик начал откалывать свою «руськую» так, что седые волосы развалились на его голове да летели по воздуху длинные полы сюртука. Окончив пляску, Печенкин побрел опять в буфет. «Мамочка», как ручной медведь, лениво поплелся за стариком, покачиваясь на каблуках и расправляя свои могучие плечи. Публика, кажется, привыкла к подобным сценам, потому что сейчас же музыка заиграла прерванную кадрили, и дамы принялись дотанцовывать четвертую фигуру. Димитраки танцевал с женой Заверткина, и по его наглой, улыбавшейся физиономии было видно, что он говорил своей даме какие-нибудь пошлости. Я хотел отправиться в свой номер, как в углу одной комнаты заметил Евмению, которая сидела в каком-то полузабытьи и не слыхала, кажется, ничего, что происходило вокруг нее. Я назвал ее по име-

ни.

— Ах, это вы!.. Как вы испугали меня, — заговорила девушка, точно обрадовавшись моему появлению. — Что вы стоите? Садитесь... Вы, вероятно, удивились, что я могу задумываться, да?

Евмения улыбнулась печальной, больной улыбкой, и мне показалось, что на ее больших глазах блеснули слезы.

— Вы слышали, как бушевал Печенкин?

— Когда?

— Да вот сейчас только.

— Ах, да... Нет, я не слыхала, но ведь это слишком обыкновенная история, и нас этим не удивишь, — усталым голосом говорила Евмения, нервно ощипывая какую-то ленточку на своем платье. — Ведь это же скучно, наконец... Скучно, скучно, скучно!.. Иногда думаешь про себя, — продолжала Евмения, опустив глаза, — стоит ли жить на свете... Ведь все равно как в берлоге живешь!.. Вот бы на сцену поступить...

Девушка искоса взглянула на меня и продолжала уже взволнованным голосом:

— Можно бы полжизни отдать, чтобы дру-

гую половину прожить по-человечески... А как взглянешь на себя в зеркало, будто холодной водой и обольет: и мала, и суха, и безобразна... Такое отчаяние нападет, что не глядел бы на свет! Ах, если бы мне рост, — понимаете, всего бы несколько вершков прибавить росту, — прямо бы на сцену поступила... Когда я бываю в театре, со мной просто дурно делается. И ведь чувствую, что сыграла бы, очень хорошо сыграла, особенно в драме, — знаете... в «Грозе» Островского ту сцену, где Катерина мечтает, и, потом, когда она начинает сходить с ума. Вот что я сыграла бы, если бы не проклятый мой рост!

Я, как умел, разуверял Евмению, что недостаток роста на сцене делается незаметным благодаря длинным шлейфам и большим каблукам, но что для сцены нужно очень серьезное образование и специальная подготовка, которой недостает даже лучшим русским актрисам.

— Да разве можно сделать из меня какой угодно подготовкой купчиху Катерину, бабу — кровь с молоком? — говорила Евмения, с презрением оглядывая себя.

— Ведь есть роли и кроме Катерины...

— Да, да... И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?

Евмения не слушала меня. Она думала о чем-то другом и, по своему обыкновению, неожиданно захохотала.

— Вот, я думаю, вы потешаетесь-то надо мной, — говорила девушка, ломая пальцы: — ведь прямая провинциальная дура, а еще захотела на сцену... Ха-ха-ха!.. Дочь Калина Калиныча и — на сцене: ведь это так же невозможно, как жареный лед, да?.. Вы смеетесь надо мной, как над сумасшедшей, но я ведь нисколько не обижаюсь этим: по Савве и слава... У нас в Старом заводе бывают иногда любительские спектакли, — немного успокоившись, рассказывала Евмения. — Только они без скандала никогда не обходятся. У нас есть здесь немец-управляющий, Штукмахер; он придет на спектакль всегда вместе с Димитраки, и всегда пьянее вина, и начинают ругать актеров вслух всякими словами. Однажды дело дошло до того, что они во время действия бросились на сцену и давай колотить актеров и актрис. Штукмахер тогда

сильно избил одного учителя, Младенцева. Впрочем, он уже не в первый раз его колотил: раз, на пожаре, этого же Младенцева Штукмахер до полусмерти избил палкой.

— Что же, Младенцев жаловался?

— Как же... Только ведь жаловаться приходилось Заверткину, а Заверткин всегда оправдывает Штукмахера, потому вместе безобразничают. Младенцев подал на Заверткина жалобу в съезд мировых судей, а съезд отказал, потому что там все благоприятели Заверткина насажены, а Митрошка, «Министр»-то наш, за это Младенцева из учителей в три шеи.

— Ну-с, а публика что смотрит, когда Штукмахер с Димитраки актеров колотят?

— Публика?.. Да ведь они и публику не хуже нас ругают, так уж мы привыкли к этому. В последний раз у нас спектакль был назначен в заводских конюшнях. Устроили сцену, места для публики. Только является Штукмахер, взял да комнату, из которой должны выходить актеры на сцену, и велел запереть, а нам на сцену и пришлось лазить со стороны публики... Ей-богу! А Штукмахер кричит: «А,

такие-сякие, пусть лезят, как собаки!..» Однако прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места. — Мне пора домой... Вон адвокат Печенкина высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельница по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, — говорила разбитым голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся на суде.

Я проводил девушку до передней. Она молча кивнула мне головой и, быстро одевшись в какое-то ветхое пальто, исчезла в дверях. Вернувшись в клуб, я еще долго толкался между остальной публикой, продолжая думать об этом странном маленьком существе, по-видимому сгоравшем от избытка сил. У меня еще стоял в ушах ее дикий смех, резкая интонация голоса и те печальные ноты, которые прорывались так неожиданно сквозь эту браваду и отчаянную веселость; в этом странном, злобноподвижном лице учительницы скользило общею тенью что-то недосказанное, что-то, что давило ее и просило выхода. Маленькая комната с полками книг, фотогра-

фиями знаменитостей, кипами бумаг и гитарой в углу, затем сцена с Праведным и, наконец, этот разговор в клубе — все это освещало Евмению с совершенно противоположных, ничего не имевших между собой общих сторон: то учительница, считающая верхом блаженства носить стриженные волосы и говорить дерзкие слова; то куртизанка, делающая глазки и кокетничая с первым встречным; то будущая Рашель... Это были такие противоречия, которые никак не укладывались в голове.

Этому клубному дню суждено было закончиться крупным скандалом, героями которого явились Заверткин и Димитраки. Еще с самого начала вечера Заверткин заметил шашни Димитраки, но, как истинный европеец и образованный человек, он смолчал; а когда Димитраки, сидевший рядом с женой Заверткина, дошел до непозволительных вольностей, Заверткин уже не мог этого перенести и влепил греку полновесную затрещину. Эти неожиданно обострившиеся отношения быстро перешли в драку, а затем в ужаснейшую свалку, так что недавние друзья, цвет и краса

старозаводской jeunesse dorée, долго катались по полу, испуская дикие вопли, пока Пальцев не вылил на них три графина холодной воды.

— Нет, Пальцев, ты понимаешь, зачем он с моей женой шашни заводит? — кричал Заверткин, поправляя съехавший на горло жилет.

— Нельзя, ангел мой... Общественное место, ангел мой, — успокаивал Пальцев, стараясь увести расходившегося супруга в буфет.

— Нет, ты скажи, что бы ты сделал, если бы... если бы твоей жене... а? Жене, а?!. Ведь я сам видел!..

— Я, ангел мой, на твоём месте выпил бы стакан холодной воды...

Димитраки во время этого разговора успел улизнуть с порядочной царапиной на носу в буфет, где спешил привести в порядок некоторые подробности в своем туалете, — они нуждались в серьезной ремонтной работе.

Эта буря в стакане воды так же неожиданно улеглась, как и возникла. Через каких-нибудь полчаса благодаря стараниям Пальцева недавние враги не только помирились, но даже расцеловались и по требованию публики

исполнили «Стрелка». Димитраки и в пении хитрил: нет-нет — и сфальшивит; но зато Заверткин был решительно неподражаем. Правда, он пел козлиным голосом и жестоко врал, но зато свое пение сопровождал такими красноречивыми жестами, так уморительно вздрагивал плечами и головой, что вся публика хохотала над ним до упаду. Даже сам «Министр» не избег этого воодушевления, так неожиданно охватившего все общество, и побрел из клуба на свое пепелище, напевая себе под нос:

*О-он им было
То и се, то и с-се,
Н-но напр-расно было все,
Бы-ыло все-се...
Да!*

Публика в буфете сильно поредела; оставались только клубные завсегдатаи.

Печенкин давно нагрузился и сидел в буфете, опустив на грудь свою седую буйную голову. Что-то вроде раздумья накатило на этого неистового сына природы, и трудно было сказать, о чем он думал: вставало ли перед его глазами его прошлое, или заботило его

неизвестное будущее, или, может быть, царь-хмель клонил долу эту седую голову. «Мамочка» тоже дремал, потягивая шампанское.

— «Мамочка», а «Мамочка», — тихо говорил Печенкин, не подымая головы. — Скучно, «Мамочка»... Спой, «Мамочка», «Воробышка».

«Мамочка» откашлялся, поправил усы и приятным баритоном запел известную песню:

*У воробышка головушка болела,
Да, ах, болела, болела!..*

— О-о-хо-хо! Болела, — шептал Печенкин, покачивая своей большой, как пивной котел, головой. — Спасибо, «Мамочка», утешил старика...

*На одну ножку он припадает.
Да, ах, все припадает!..*

Выслушать знаменитое дело Печенкина с Гвоздевым мне не удалось, потому что оно было отложено за неявкой какого-то очень важного свидетеля.

XII

Осенью я уехал в Петербург, где разные неотложные дела задержали меня года на два. Однажды, во время зимнего сезона, мне случилось быть на любительском спектакле в клубе художников. Бывая в театре, особенно на любительских спектаклях, я никогда не покупаю афиши и совсем не справляюсь ни о названии пьесы, ни о фамилиях актеров, дабы не испортить впечатления разными ожиданиями и предвкушениями. Я выбираю какой-нибудь дальний уголок и стараюсь представить себе, что передо мной проходят не герои и героини известной пьесы, не известные актеры и актрисы, а развертывается страница за страницей сама жизнь, какой созидала ее мать-природа, время и обстоятельства. Если эта иллюзия удается, я совершенно неподвижно просиживаю всю пьесу и ухожу домой в отличном расположении духа, унося в голове большой запас сцен и характеров, наталкивающих мысль на множество новых вопросов и освежающих ее приливом новых сил. На этот раз публики было немного; ко-

гда занавес поднялся, сцена представляла небольшую, бедно меблированную комнату, в которой сидел седой старик, нетерпеливо поглядывавший в окно, ожидая возвращения дочери с уроков. От нечего делать старик мечтал вслух, и в этих старческих мечтах автор вложил живую сердечную нотку, которая невольно подкупала в пользу этого размечтавшегося старика, переносила на его точку зрения и заставляла вместе с ним терпеливо поджидать возвращение дочери. Но вот знакомый стук в двери, старик с радостным лицом бросается навстречу своей любимице, которая издали кричит ему веселым молодым голосом, что она хочет есть, как волк. Дверь растворяется, в комнату вбегают девушка, бедно, но прилично одетая, и звонко целует отца. Когда старик уходит в другую комнату, девушка в каком-то изнеможении начинает говорить, и совсем другим голосом, жалуясь на свою неблагодарную деятельность, усталость и скуку. Я сразу узнал в этой девушке Евмению Грехову, которая сильно изменилась в эти два года, но в ней еще осталась та же страстная порывистость, беззаботный смех и

быстрые переходы от безумной веселости к печальным мыслям. Это был тот самый голос, который распевал в избушке Калина Калиныча балладу Гете.

Вся прелесть пьесы для меня пропала, и мне осталось только заняться наблюдениями тех перемен, которые произошли в моей случайной знакомой за эти два года. А перемены в ней были громадны: Евмения, кажется, в совершенстве постигла науку, как держать себя, с тем инстинктом женщины, который дает ей какое-то особенное чутье понимать мельчайшие детали новой обстановки и применяться к ним с замечательной быстротой.

В смелых жестах и развязных движениях Евмении виделось слишком много заимствованного из театров Буфф и Михайловского. Она успела перенять у французских актрис все то, чему никогда не научилась бы в Старом заводе. Евмения теперь в совершенстве владела длинным шлейфом и довольно ловко при поворотах откидывала шумевшие юбки ногой. Увы, это были настоящие накрахмаленные юбки, которые Евмения так недавно отрицала с таким самоотвержением. Вообще

вся фигура Евмении под руками ловких модисток сильно изменилась и сделалась выше и полнее. После первого действия слышались аплодисменты, — живая игра Евмении подогрела даже сонную петербургскую публику. Первым действием успех был обеспечен, а по окончании спектакля публика дружно вызывала Евмению несколько раз и в заключение поднесла ей букет. Я видел, с каким сияющим лицом схватила она этот букет, может быть еще первую свою награду на сцене.

— У ней есть огонек, — говорил за мной какой-то басистый голос. — Правда, что она еще очень молода и не привыкла к сцене, но главное — огонек... У ней есть эта артистическая жилка, есть кровь!.. Немного побольше опытности — и она может пойти далеко. Главное — огонек, все дело в огоньке!

Я оглянулся и сразу узнал г. Праведного, который беседовал с своим соседом; знаменитый адвокат сильно обрюзг и осунулся, а в волосах на голове уже слегка серебрилась седина. Праведный несколько раз принимался аплодировать и покровительственно улыбался, когда Евмения появлялась на авансцене и на-

чинала бойко раскланиваться с публикой. Не оставалось больше сомнения, что Евмения добилась полного успеха, и я нарочно остался в клубе после спектакля, чтобы хоть издали взглянуть на ту метаморфозу, которая произошла в дочери Калина Калиныча. Шаг сделан громадный, и теперь уже он был освещен лучами первого успеха, поэтому мне вдвойне было интересно взглянуть на Евмению, какой она явится не на сцене, а среди публики. Заняв столик в одной из боковых комнат, я терпеливо ждал появления Евмении; она скоро вышла под руку с каким-то белокурым офицером, одетая по последней моде, со спутанными ногами, волочившимся длинным треном и гордо откинутой назад белокурой головкой. Кто бы мог подумать, что эта изящно одетая актриса, державшая себя так просто и естественно, точно она выросла в этой сфере, — кто бы мог подумать, что это дочь Калина Калиныча, еще так недавно считавшая верхом блаженства носить стриженные волосы и украшать свой нос пенсне.

Евмения несколько раз прошла мимо меня, кокетливо обмахиваясь веером и делая

глазки своему кавалеру.

Проходя мимо меня еще раз и мельком взглянув в мою сторону, Евмения быстро выпростала руку от своего кавалера и, шелестя платьем, нерешительно подошла к моему столику.

— Если не ошибаюсь... — заговорила она, прищуривая глаза.

Мне только оставалось подтвердить основательность ее догадки и удостоверить свою личность. Евмения без церемонии поместилась за мой столик, совсем позабыв кавалера и свои светские манеры.

— Давно ли вы здесь? — спрашивала Евмения, останавливая на моем лице свои серые глаза.

Я в коротких словах рассказал ей незамысловатую историю моего пребывания в Петербурге, и Евмения, предупреждая мой вопрос, заговорила:

— Как же это мы с вами не встречались до сих пор? Это просто удивительно, потому что я, кажется, перебивала по сту раз везде, где можно быть женщине. А помните Старый завод? Вот бы удивились все, если б увидели ме-

ня здесь... Воображаю себе, какую бы рожу скроил наш Митрошка!.. Помните «Министра»?.. Посмотрела бы я, как хлеб за брюхом не ходит... Вот где дурак-то!

Евмения научилась даже картавить и с особенным шиком произносила букву р. Она очень скоро и очень остроумно рассказала историю своего пребывания в Петербурге, куда приехала с тою целью, чтобы поступить на женские курсы, и действительно поступила, но скоро раздумала и ученую карьеру променяла на сцену.

— Меня удерживало только одно, — опуская глаза, говорила тихо Евмения. — Самая профессия актрисы не пользуется особенным уважением. Знаете, все смотрят как на женщину, которую можно купить...

Мне оставалось сказать Евмении о ее сегодняшнем успехе, но на мои слова она печально улыбнулась и проговорила:

— Да, да... А вы хорошо подумали обо мне, встретив меня в этой компании? — Евмения показала головой в сторону наблюдавшего нас издали офицера. — И ведь, главное, уверен, что за хороший ужин все на свете можно

купить... Идиот!..

— Однако он может обидеться на вас, что заставляете его ждать, — проговорил я.

— Обидеться?.. Они созданы с специальной целью платить за шампанское, которое мы пьем, устраивать пикники для нас...

— Значит, вам очень весело живется здесь?

— Как вам сказать... От тоски стараешься уверить себя, что очень весело, и дурачишься...

— И здесь тоска?

— Не то чтобы тоска, а пустота... Понимаете? Я даже иногда жалею о Старом заводе, право! Там была хоть надежда впереди, а здесь и этого не осталось: плывешь по течению. А вы помните, как Праведный отчистил меня тогда на суде? И ведь совершенно напрасно... Все в один голос кричали, что я находилась в близких отношениях к Гвоздеву и что он меня подкупил; но, ей-богу, все это чистейшая ложь. Ах, я и позабыла, что вы тогда совсем не были на суде! Смех!.. Родитель заплакал, а я — ничего, только плюнула про себя. Мне тогда порядком досталось, но я не зло-

памятна. Ведь Гвоздева тогда оправдал Праведный. Да, совсем оправдал. Пять тысяч с него содрал за это удовольствие. Да чего лучше: Праведный ужинает с нами, — пойдете, он вам расскажет всю подноготную... Дело прошлое, и скрывать нечего. А вы видели Праведного? — спрашивала Евмения, когда я отказался от ужина «с нами». — Находите, что он постарел?..

Евмения через веер печально посмотрела на меня и прибавила:

— Если увидите отца, кланяйтесь ему... Мне иногда очень хочется видеть его. Бедный старик очень скучает обо мне и пишет мне пресмешные письма, точно мне тринадцать лет. Знаете, по его письмам я начинаю догадываться, что он находится под влиянием Миронихи и, чего доброго, в одно прекрасное утро уклонится в раскол... Воображаю себе положение сладчайшего отца Нектария: какую благочестиво печальную физиономию он скроит по такому случаю. Ха-ха-ха!.. А об Гвоздеве вы ничего не слышали? Говорили, что Печенкин подал кассационную жалобу в сенат... А о Заверткине, Димитраки, Пальцеве

тоже ничего не слышали? Вот почтенное трио... Как бы желала я посмотреть на этих разбойников... Я думаю, пьют горькую!

Белобрысый офицер опять прошел мимо и многозначительно посмотрел на нас.

— О, это ничего, ему моцион полезен, — весело шутила Евмения. — Пусть прогуливается... Впрочем, мне уж пора, — мой князь, кажется, не на шутку начинает сердиться, — вставая и поправляя спутавшийся трен, говорила Евмения. — Прощайте!..

Офицер подал руку Евмении, она сделала несколько шагов с ним и, обернув свою белокурую головку, весело проговорила:

— Кланяйтесь же всем, всем!

Грациозно кивнув мне в последний раз, Евмения удалилась с своим князем, немилосердно шелестя шелковым платьем и немного раскачиваясь на ходу; через минуту из соседней комнаты до меня донесся ее звонкий голос, очевидно, отвечавший на чей-то вопрос.

— Я же говорю вам, что это мой родственник... троюродный брат. Понимаете или нет?

Теперь я понял печальную истину: Евме-

ния была в своей роли и не нуждалась больше в декорациях. Она слишком увлеклась жаждой оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и, в обществе этих господ, с головой опустила в ту сферу, где преобладающей страстью является безумная скачка за наслаждениями. Воспоминания о жизни в Старом заводе, бедной комнатке, уставленной книгами, старике отце с его смешными письмами — все это было теперь только подробностью, которая, с одной стороны, возбуждала сожаление, а с другой — усугубляла живость текущих наслаждений.

Когда я выходил из клуба с этими грустными мыслями, до меня долетел громкий взрыв смеха из той комнаты, в которой совершалось таинство веселого ужина, а затем наступила тишина, и слышались знакомые звуки баллады Гете, которую пела Евмения:

*Родимый, лесной царь со мной го-
ворит,
Он золото, радость и перлы су-
лит...*

XIII

Наступила петербургская весна, с ее слякотью, холодом и только изредка солнечными днями. В один из таких редких дней, в конце апреля, мне случилось идти по солнечной стороне Невского проспекта. Было около трех часов пополудни, и знаменитая улица кипела гулявшей публикой, спешившей показать весенние костюмы и полюбоваться солнечным светом. У магазина эстампов и картин Бегрова я остановился перед одним окном и машинально пробежал глазами ряд картин с избитыми, давно надоевшими сюжетами разных морских видов, уголков благословенного юга и еще какой-то чепухи, вроде итальянок у источников с открытыми руками и аппетитными икрами, испанок с подобранными до «невозможной невозможности» юбками, католических монахов, заглядывающих за корсажи хорошеньких поселанок, и т. д. Я уже пошел было от магазина, как что-то точно кольнуло меня в сердце: в углу окна, в скромной раме, прятались маленькие картинки неизвестного художника. На пер-

вом плане картины стояла высокая, густая ель, а под ней прилепилась крохотная, полуразвалившаяся избушка, на самом краю крутого обрыва. За елью и избушкой виднелся далекий еловый лес, еще дальше — невысокие горы, и над всем этим глубоким куполом опрокинулось чистое голубое северное небо, едва тронутое, как серебряною пеной, белыми облачками. Как живые, встали предо мной картины и сцены далекого Урала, бесконечного леса, зеленых гор, привольной жизни старателей... Вспомнил я палаустный балаган Саввы Евстигнеича на берегу Балагурихи, Василису Мироновну и светлую душу Калина Калиныча. Как в тумане, пришел я на квартиру и решил, что завтра же уезжаю из Петербурга,

Живо промелькнула предо мной дорога от Петербурга до Перми. Москва, Нижний, Казань остались назади, и с парохода я перешел прямо на вокзал недавно открытой Уральской железной дороги, чистенький и свеженький, как только что снесенное яичко. После загрязненных вокзалов Николаевской и Нижегородской дорог новое произведение

Губонина и К° произвело на меня приятное впечатление, особенно при воспоминаниях той муки, какую приходилось выносить каждый раз, переваливая через Урал по блаженной памяти сибирскому тракту. Пестрая толпа публики сновала по платформе.

Попыхивая клубами темного дыма и рассыпая искры, двинулся локомотив по новой дороге; я долго сидел у окна и любовался еще неизвестными мне видами, которые мелькали по сторонам. Дорога проходила по широкой низменности, заросшей глухим лесом, и только по мере приближения к главной массе Уральского хребта на горизонте, с правой стороны, начинали выясняться в туманной дали силуэты гор. Как известно, горные кряжи представляют из себя подобие сороконожки, причем главная масса горного кряжа представляет тело этого насекомого, а отроги и побочные разветвления — ее ноги. Обыкновенно железные дороги стараются провести горными долинами, которые образованы разветвлениями горного кряжа, а затем уже, для перевала через главную горную массу, выбирают какой-нибудь удобный проход или про-

бывают тоннель, или, наконец, прибегают к высоким подъемам и крутым спускам. Инженеры, строившие железную дорогу через Урал, повели ее не горными долинами, а прямо по гребню одного разветвления горной массы, так что перевал через самый кряж не представлял уже упомянутых выше затруднений и почти совсем незаметен.

Собственно, хороших и интересных видов совсем не попадалось; мимо нас мелькали высокие насыпи, глубокие лога, болота, усеянные пеньками, правильными кучками хвороста и поленницами дров, да иногда поезд с глухим грохотом катился по каким-то длинным коридорам, вырубленным в каменной почве. Общее впечатление от Уральских гор было очень неопределенно и на непривычного человека должно было наводить невольную тоску. Нужно с детства привыкнуть к этой незавидной серенькой природе, чтоб от души любоваться ее скромными красотами: невысокими горами, сплошь покрытыми хвойным лесом, глубокими горными долинами с говорливою речкой на самом дне да высоким прозрачным голубым небом, с которо-

го волнами льется свет на эти незамысловатые картины природы. Глаз невольно отдыхает на темной зелени бесконечного леса, и в душе пробуждается сильное освежающее чувство покоя, которым живет все кругом.

От станции Привал до Старого завода было верст тридцать, которые нужно было проехать на лошадях проселочного дорогой. Через полчаса я уже сидел в легком плетеном коробке, который бойко катился по убитой дороге. День был ясный, солнце пекло, из лесу так и обдавало душистым паром. Дорога слегка пылившею лентой извивалась между гор. Попадались пролески из берез и липняку, только что развернувших свою зелень. Коробок слегка покачивал, и хотелось ехать в нем все дальше и дальше; сладкая, неотвязная дремота кружила голову, но мысль работала, поднимая старые воспоминания, забытые сены, дорогие лица... Хорошо, чудно хорошо на Урале весной, в начале мая, когда все в природе спешит развернуть свои силы и жадно ловит каждую минуту короткого северного лета.

Вот вдали мелькнули домики Старого за-

вода и красиво вырезались на зеленом фоне леса силуэты церквей. Я издали узнал стоявшую на пригорке новую церковь, выстроенную в память 19 февраля; постройки все были закончены, леса сняты, и красивое здание стояло, как невеста, блестя громадным куполом, обитым жемчужной материей. Ямщик крикнул на лошадей, обдало облаком пыли, смешались спицы в колесах, и коробок вихрем полетел по широким улицам Старого завода, к гостеприимным дверям «Магнита».

Я занял номер и попросил умыться, а через пять минут знал уже последние новости Старого завода, которые главным образом вертелись около приезда архиерея, ехавшего в Старый завод святить новую церковь, которую, как оказалось, достраивал не Калин Калиныч, а Гвоздев. После небольшого отдыха я отправился навестить Калина Калиныча и нашел его избушку без особенного труда. Во дворе было совсем пусто, и навстречу не выбежала даже хромая собака, которую я видел в последний раз у Калина Калиныча; ветхое крыльцо покосилось совсем на одну сторону, на лестнице не доставало нижней ступеньки,

в крыше светилась большая дыра. Войдя в темные сени, я долго искал ручку у двери, напрасно ощупывая бревенчатые стены руками.

— Кто там, крещеный? — послышался голос Калина Калиныча из избушки, когда я, наконец, отыскал железную скобку.

XIV

Отворив дверь, я увидел самого Калина Калиныча: он лежал на широком диване, прислоненном к дощатой перегородке. Я не сразу узнал его: лицо было по-прежнему круглое, но совсем желтое и под глазами обрисовывались темные круги. Старик лежал на диване ногами к двери и при моем входе с трудом приподнялся на своей подушке.

— Ах, батюшки... Господь гостя послал!.. А вы уж извините меня, старика, — заговорил старик слабым голосом, стараясь улыбнуться. — Подняться-то не могу совсем... Хворь одолела! Да как вы надумали навестить-то меня!.. А я уж скучаю, пожалуй, один-то... Венушка-то моя уехала ведь в Петербург, ей-богу-с!.. Вот уж два года, почитай, будет, как я остался один-одинешенек... Как здоров-то был, так оно ничего, а прихворнулось, так иногда и тоска возьмет... Все под богом ходим!.. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — говорить-то мне трудно стает-с.

На маленьком столике у самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном пе-

реплете, которую Калин Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом и теперь осторожно закрыл.

— Вот от Венушки что-то давно письма нет, — говорил Калин Калиныч. — Уж, думаю, жива ли...

— Она здорова и кланяется вам, Калин Калиныч, — спешил я успокоить старика. — Я видел ее в Петербурге пред самым отъездом.

— Ах, батюшки!.. Что же она: похудела, стосковалась об Старом заводе?

Я сказал старику, что встретил Евмению на улице и что она была совсем здорова и, по обыкновению, весела и просила передать поклон отцу.

— А ведь у ней моя душа-то, добреющая, — говорил Калин Калиныч, вытирая катившиеся из потухавших глаз слезы. — Только уж характер у ней неукротительный-с. А я здесь в ее комнате все так и оставил, как при ней было, ни единой книжки не шевельнул, только пыль когда подотру-с. Все думаю: приедет на Старый завод, так ей это будет приятно-с...

Добрый старик долго говорил о своей Венушке, припоминая мельчайшие подробно-

сти из ее детской жизни, и несколько раз принимался с жаром благодарить меня, что я его успокоил.

— А что, как она одета была, не приметили-с? — нерешительно спрашивал меня старик. — Поди, бедненько и в очках-с?

— Нет, одета отлично и без очков.

— А где же она денег взяла? Ведь там, говорят, все дорого — страсть!.. У ней было немножко деньжонок скоплено, рублей полтора, да в большом-то городе какие это деньги-с!..

— Вероятно, работу нашла какую-нибудь.

Я постарался поскорее прекратить этот разговор, потому что Калин Калиныч говорил с трудом, да и мне тяжело было обманывать этого несчастного, брошенного всеми старика. Мне не хотелось совсем убивать его известием, что Евмения поступает на сцену, и я перевел разговор на его болезнь.

— Что у вас болит, Калин Калиныч?

— Там-с... в самом нутре болит-с... Точно стрелой-с пронзило-с... наскрозь!

— А доктор у вас был?

Калин Калиныч слабо улыбнулся и махнул

рукой.

— Какой доктор-с?.. От смерти лекарства нет-с... Лучше доктора нет, как господь бог: на все его святая воля-с...

— А все же, Калин Калиныч, не мешало бы пригласить доктора.

— Нет-с, зачем же их напрасно беспокоить-с?.. Одинова приглашал и доктора... Только больно они у нас горды на Старом заводе. Кабы у меня были деньги, тогда — другое дело, а то что я ему дам?.. Осмотрел он меня, прописал рецепт, фукнул себе под нос и уехал...

— Как же вы лежите здесь один?

— Нет-с, я не один... Василису Мироновну, может быть, помните-с? Вторая мать для меня... Она каждый день заходит ко мне по два раза-с, и накормит, и напоит.

— А отец Нектарий?

— Бог с ним совсем... Ему ведь некогда меня проведовать-то, — немного грустно проговорил старик. — А помните церковь-то? Со всем отстроена! Благодарение господу, святить скоро будут-с... Архиерея ждут на Старый завод. Да-с! Теперь мне и помереть спо-

койно можно-с. А знаете, кто церковь-то достраивал? Аристарх Прохорыч, ей-богу-с! И меня оттер совсем... Как его тогда ослобонили на суде, так он сейчас обещание-с: «Так и так, дострою церковь...» Ну, собирались они-таки долгонько-с, и мы тем временем все внутри отделали: выщекатурили, иконостас поставили, начали крылосы отделявать, а тут Аристарх Прохорыч и вмешались... Так и пошло все вверх дном: и то не ладно, и это не так... А Аристарх Прохорыч твердит свое: ничего не пожалею, потому у меня обещание-с!.. Известно, человек богатеющий, все на свой счет давай заводить, деньгами так и сыплет, — ну, я и отстал, потому пеший конному не товарищ... Обидно оно было маненько, что уж все до конца было доведено, только бы освятить осталось, — ну, да и отец Нектарий говорят: «Потерпи, говорят, Калин Калиныч. Бог, говорят, и твои труды видит, а теперь пусть, говорят, Гвоздев в свою долю постарается». Ну, я и отстал-с. Денег у меня нет, а что мог, то все сделал-с!.. А вот тут еще болезнь приключилась, — оно, значит, даже хорошо вышло, что вовремя отстал... На все воля божья-с... Я не

ропщу, — грех роптать...

Эти разговоры, видимо, волновали и утомляли Калина Калиныча: дыхание его было тяжело и порывисто, только округ лившиеся глаза смотрели не прежним беглым взглядом, а спокойно и сосредоточенно, как у человека, подготовившегося к чему-то великому и торжественному. Широкого румянца на лице Калина Калиныча и помину не было, нос обострился я вытянулся. Заметив мой пристальный взгляд, Калин Калиныч с слабой улыбкой посмотрел на себя, а потом заговорил:

— А ведь я-с восемь пудов вытягивал-с, ей-богу-с! А теперь и трех пудов не вытяну... Пальцев в шутку кубическим шаром называл-с... Вот наша жизнь: сегодня — жив, а завтра — нет ничего.

Я начал прощаться со стариком, обещая зайти к нему на днях.

— А я уж не знаю-с, как и благодарить мне вас, — шептал старик, глотая слезы. — Вот вы — чужой, а не забыли меня, старика, и весточку мне принесли... Спасибо, родной! Пришлось еще перед смертью-то повидаться-с...

— Что вы, Калин Калиныч, зачем умирать!

— Нет-с, я помру-с, беспременно помру-с... Будет, пожил-с. И во сне видение мне было...

У меня что-то защемило на душе от этих слов, и мне сделалось до слез жаль бедного старика, не умевшего жить, но встречавшего смерть с тем спокойствием, с каким встречают ее только люди, сумевшие честно прожить целую жизнь и которым нечего бояться смотреть смерти прямо в глаза.

— Вот только Венушки жаль, — заговорил старик, не выпуская моей руки. — Не умел я пристроить ее при жизни-с... Погибнет она понапрасну с своим карахтером-с... Вот ее только и жаль-с... Прощайте-с, может, не увидимся больше-с.

— Перестаньте, Калин Калиныч! Разве это кто-нибудь может знать?

— А вот я знаю-с... Да-с. Было мне сонное видение-с... Явился старец, а с ним еще какие-то люди; старец посмотрел да на меня перстом и показал. «Этот!» — говорит. Я проснулся и понял, к чему это он перстом на меня показал. Это он по душу по мою приходил-с...

Все время моего посещения я видел, что

Калину Калинычу что-то хотелось сказать мне, но старик все удерживался; когда я стал прощаться с ним, он, не выпуская моей руки и улыбаясь, взволнованным голосом проговорил:

— А помните суд над Аристарх-то Прохорычем? Тогда этот его адвокат, такой горластый, из себя толстый, еще Венушка звала его Неправедным, сильно нас обидел... Да-с! А ведь он про Венушку-то совершенно напрасно высказал такие слова-с... Сам после заезжал и просил прощения у меня-с, ей-богу-с! Так прямо и говорит: «Извините меня, Калин Калиныч... Это, говорит, нужно было, чтобы выправить Аристарх Прохорыча-с!» А ведь они тогда душу из меня на суде-то выняли... После простил-с... Может, это и в самом деле им нужно было, и Венушке так сказал: «Потерпи, потому сам господь терпел за нас, многогрешных». А она только смеется, — душа-то у ней вся в меня... Да-с! Напрасно тогда они обнесли на суде мою Венушку, совсем напрасно-с.

Выходя от Калина Калиныча, на ветхом крылечке его избушки я носом к носу встре-

тился с Василисой Мироновной, которая взбиралась по шатавшимся ступенькам с каким-то узелком в руках. Я сразу узнал ее. Знаменитая раскольница не изменилась ни на волос за эти два года, только немного как будто потемнела, да большие глаза смотрели еще строже. Одета она была в свой неизменный кубовый сарафан, а на голове был большой темный платок.

— Что, узнал? — с улыбкой проговорила Василиса Мироновна, протягивая мне руку.

— Да, узнал.

— Калина приходил проведывать? Ненадежен он у нас, того гляди — богу душу отдаст. Доняли они его этой церковью... Строил, строил, а теперь, как все готово, Гвоздев на себя все принял!.. Разве это порядок? Вот с этого наш Калин и пошел хворать... Ох, грехи наши тяжкие!..

— А где Савва Евстигнеич? — спросил я.

— И Савва плох, — сурово отвечала раскольница.

— Отчего так?

— Да такие дела, выходит, подошли: сколько ни живи, а умирать все придется. Вон Ка-

лин — на что гладкий был, а теперь совсем в худых душах...[7] Заходи как-нибудь в мою избушку, — побеседуем.

XV

С освящением новой церкви вышел довольно курьезный случай. Дело в том, что достраивал церковь Гвоздев. Ему хотелось принять владыку в своем, только что отстроенном, новом доме, для чего были уже сделаны все необходимые приготовления. Такое посещение владыки имело большое значение для Гвоздева, потому что подняло бы его авторитет на небывалую высоту. Но в это дело вмешался Печенкин. Хитрого старика кто-то научил перехватить владыку на дороге и увести в свой дом и таким образом оставить Гвоздева с носом. Враги хотя и помирились давно, но Печенкину понравилась самая идея осрамить Гвоздева перед целым заводом. Сказано — сделано. Гвоздев выехал встречать владыку по той дороге, по какой он обыкновенно приезжал в Старый завод, а Печенкин в это время уже встретил владыку и окольными дорогами провез прямо к себе.

В день освящения церкви масса публики собралась в каменных палатах Печенкина. Конечно, в числе гостей были Пальцев, За-

верткин, Димитраки, «Министр» и прочая братия.

Пока я предавался этим размышлениям, к подъезду дома скоро подкатила пролетка Печенкина, на которой рядом сидели преосвященный и сам Печенкин. Гвоздев и Печенкин под руки ввели владыку в дом и торжественно провели его прямо за стол, где было уже все готово к обеду, а на хорах гремела музыка: «Коль славен наш господь в Сионе...» За владыкой ввалилась архиерейская челядь; для нее был отведен особый стол в отдельной комнате, за исключением, впрочем, о. протодиакона. О. Нектарий бегал по зале маленькими шажками, улыбался, крепко пожимал всем руки и постоянно вертелся на глазах у владыки, куда бы тот ни повернул свою голову. Преосвященный Питирим, старичок очень почтенной наружности, улыбался такой доброй улыбкой, что невольно привлекал к себе симпатию всякого; он любил покушать, а главное — любил что-нибудь рассказывать и особенно слушать, как рассказывают другие.

Публика долго и с шумом рассаживалась по местам; владыка сидел между о. Нектари-

ем и Гвоздевым. Заверткин, Димитраки, Пальцев и «Мамочка» разместились за дальним концом стола, окружив о. протодиакона, служившего предметом общего любопытства и вместе с тем для производства некоторых экспериментов.

— Разве, господа, молочка от бешеной коровы выпьем? — добродушно басил о. протодиакон, поправляя на груди полки распахнувшейся рясы.

— Это он коньяк так зовет, — шептал Пальцев, подмигивая Заверткину.

— Был здесь один человек, — говорил Заверткин, прищуривая левый глаз: — вот пил, так пил... Это был, отец протодиакон, один адвокат. Праведный по фамилии, так он...

Но о. протодиакон не мог более слушать Заверткина, потому что раскатился таким хохотом, что сам владыка поинтересовался узнать причину этого гомерического смеха.

— Вот, ваше преосвященство, над фамилией смеемся, — вставая, говорил о. протодиакон, — был, говорят, здесь какой-то адвокат: Пра-вед-ный...

— А ведь действительно очень странная

фамилия, — соглашался владыка. — Очень странная... Пра-вед-ный, да?

— Очень странная фамилия, ваше преосвященство, — поддакивал о. Нектарий, как-то особенно склоняя голову набок.

Между Заверткиным и Димитраки завязался горячий спор по поводу того, кто может больше выпить о. протодиакон или адвокат Праведный; но этому спору суждено было кончиться ничем, потому что Пальцев в самом интересном его месте поднялся с своего стула и проговорил, обращаясь к владыке:

— Ваше преосвященство, я должен сообщить вам пренеприятное известие: золото-промышленник Иван Тимофеич Травкин, которого вы хорошо знали, третьего дня скончался...

— Как же это так. вдруг?.. — проговорил владыка, с недоумением глядя на Гвоздева и о. Нектария.

— А так, действительно вдруг, ваше преосвященство, скончался, — продолжал Пальцев. — Я его как раз видел часа за два до смерти. Ехал мимо Махневского завода, а он идет навстречу. Поздоровались... Он недавно был

именинник, я и говорю ему, что следовало бы подогреть старого-то именинника. Он позвал меня к себе, я и пообещал побывать у него на обратном пути. И действительно, заезжаю, а он — на столе, и лежит как живой, совершенно как живой... Его кондрашка хватил, ваше преосвященство!

— Жаль, очень жаль Травкина, — качая головой, говорил владыка.

— А какой это благочестивый был человек, ваше преосвященство! — говорил о. Нектарий.

— Да, да... Я хорошо его помню. Жаль, очень жаль.

— Немного таких людей, ваше преосвященство, осталось, — говорил Гвоздев.

— Немного, очень немного... Да, немного.

— Пр-имерный хр-ристианин, ваше преосвященство! — вставил свое слово «Министр», сильно вытягивая свою длинную шею.

Отец Нектарий хотел прибавить еще что-то о добродетелях покойного, но в это время показавшаяся в дверях коротенькая и толстая фигурка заставила невольно всех оглянуться,

а потом посмотреть на Пальцева, который, как ни в чем не бывало, что-то шептал на ухо о. протодиакону.

— Благословите, ваше пьеосвященство, — заговорил вошедший, как шар подкатываясь к владыке.

— Как же это?.. Кажется... — шептал владыка, не решаясь дать благословение, но о. Нектарий что-то шепнул ему на ухо, и владыка благословил, проговорив добродушно: — А мы тебя, Иван Тимофеич, здесь совсем было похоронили...

Общий взрыв неудержимого хохота долго стоял в зале: вошедший и был тот самый Травкин, про которого только что сейчас рассказывал Пальцев. Владыка не только не рассердился за эту шутку, но долго смеялся вместе с другими, покачивая своей головой.

— Он, ваше пьеосвященство, всегда что-нибудь такое пьидумает, — жаловался Травкин, указывая рукой на Пальцева, — пьяво, ваше пьеосвященство... Он всегда пьивьет язвые пустяки!

Все долго хохотали над выдумкой Пальцева, который смеялся вместе с другими и даже

упрекал Травкина:

— Ты, ангел мой, совсем подвел меня... Разве так делают порядочные люди?

Весь обед прошел самым оживленным образом. Владыка улыбался, слушал и даже сам рассказал несколько очень увеселительных анекдотов, из которых один привел всю публику в полный восторг.

— Раз я объезжал свою епархию, — рассказывал владыка. — В одном селе... кажется... Отец протодиакон, не помните ли вы, в каком это было селе?

— В селе Березовском, ваше преосвященство! — отвечал о. протодиакон, знавший наизусть все анекдоты владыки и даже тот неизменный порядок, в каком они следовали один за другим.

— Да, да... Припоминаю: это действительно было в селе Березовском, — продолжал владыка с своей добродушной улыбкой. — Священник этого села и представляет мне одного псаломщика. Как же его звали?.. Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, как звали того псаломщика?

— Асклиподот, ваше преосвященство!

— Да, да... Припомнил: действительно Асклиподот... Священник представляет его мне и говорит, что он примерной нравственности и желает занять вакантное место диакона при церкви села Березовского... Кажется, так, отец протодиакон?

— Точно так, ваше преосвященство!

— Я проэкзаменовал его, заставил пропеть, а потом и спрашиваю: «Ты, Асклиподот, очень желаешь быть диаконом?» Он мне и отвечает... Да, да... Позвольте, что же он такое мне отвечает? Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, что он мне отвечал?

— Псаломщик Асклиподот отвечал вашему преосвященству, что «всякий человек желает быть диаконом!».

— Ах, да, да... Действительно, так: «Всякий человек, ваше преосвященство, желает быть диаконом». Ха-ха-ха!

Над этим анекдотом смеялись больше, чем над смертью. Травкина: густым басом, откровенно хохотал о. протодиакон, добродушно смеялся с ним «Мамочка», хихикали Димитраки, Заверткин и Пальцев, и смеялся, именно смеялся, о. Нектарий, — смеялся всем сво-

им упитанным существом, смеялся до слез, каждою каплей своей крови, как умеют смеяться невинные младенцы, когда нянька им скажет «агу». Это была даже не картина, а какая-то музыка. В восторге от анекдота о Нектарий расцеловал руки владыки и подобострастно спрашивал со слезами на глазах:

— Всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом? О... ха-ха-ха!..

— Да, да! Так и говорит: всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом, — добродушно повторял владыка свой анекдот.

Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим. На первом плане, конечно, была рыба самая разнообразная и во всяких формах: уха из живых харьюзов, пудовый осетр, сваренный целиком, тальмени с розовым, нежным мясом, семга и еще целый ряд рыб, название которых я не упомяну. Все это, сваренное или зажаренное, прошипованное мудренными начинками и приправленное остроумнейшими соусами из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, капорцами и тому подобными премудростями, подавалось

на стол, съедалось и сейчас же заменялось каким-нибудь новым кушаньем. Гостей было человек двести, так что нужно было очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести провинциальных желудков, как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его количеству. Печенкин оказался чудо-хозяином и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни один рот не оставался без работы и чтоб у каждого прибора рюмки стояли полными.

Обед продолжался очень долго; пили все и за все, что только существует под луной. Владыка очень утомился этим длинным и торжественным обедом и скоро удалился на свою половину, чтобы предаться необходимому отдохновению, но оставшаяся публика и не думала уходить.

Вечером этого многозначительного дня я сидел в общей зале «Магнита» и от нечего делать перебирал старые газеты. Часов около девяти вечера на лестнице послышался глухой топот, точно кто-нибудь въезжал на лестницу на лошади. Дело скоро объяснилось: в общую залу нетвердыми шагами ввалилась

почтенная компания, состоявшая из «Министра», Заверткина и Димитраки, обнявшихся, как три брата, и взаимно поддерживавших друг друга. Несмотря на эти трогательные усилия, почтенная компания едва могла попасть в двери. За ними, тоже обнявшись, шли Пальцев и Травкин; они держались на ногах только потому, что сильно навалились друг на друга. Травкин, этот «примерный христианин», по словам «Министра», теперь еле-еле шевелил заплетавшимся языком и все повторял одну и ту же фразу:

— Пьяво, Пайцев, ты вьешь, все вьешь, а я тебя все-таки юбью...

— Мы об-бедали у Гвоздева с пр-реосвященным! — заявлял Заверткин, увидав меня и выделывая своими вихлястыми ногами самые замысловатые вензеля.

Почтенная компания проследовала благополучно до буфета и расположилась где попало, в таких позах, как будто всех их сдуло ветром. Один Димитраки еще настолько сохранил присутствие духа, что потребовал очищенной. Но бедный «Министр» лежал на полу без всякого движения, как оглушенная ры-

ба, мычал и совершенно напрасно старался объяснить что-то «посредством перстов».

Заверткин ухитрился как-то подняться на четвереньки и в этой трогательной позе пропел над распростертыми на земле телами своих друзей известные куплеты:

*Уж мы пили, пили, пили,
Уж мы ели, ели, ели...*

На другой день после освящения церкви кто-то тихо постучал в мой номер. Отворив дверь, я увидел знакомого мне Гришутку, который был в числе старателей на Балагурихе. Мальчик очень вырос в эти два года, но лицо осталось по-прежнему серьезным. Увидев меня, он проговорил:

— Василиса Мироновна велела тебе сказать, что Калин умер сегодня ночью.

— И больше ничего?

— Ничего.

Это известие сильно опечалило меня, и я, одевшись, отправился в избушку Калина Калиныча, чтоб отдать последний христианский долг этому доброму существу. Я услышал монотонное чтение над покойником, а

из окон избушки так и валил клубами синий дым ладана. Покойник лежал на столе; над ним читала своим певучим голосом Василиса Мироновна; у печки, на небольшой деревянной лавочке, сидели две старухи, недружелюбно посмотревшие на меня.

— «Пришлец есмь аз на земли, — читала Василиса Мироновна своим ровным, невозмутимым голосом, — умножися на мя неправди гордых, аз же всем сердцем испытаю заповеди твоя, господи...»

Лицо покойника не было закрыто, и на нем застыло неземное спокойствие; щеки осунулись; на глазах были положены медные копейки; чтобы не отваливалась нижняя челюсть, лицо было подвязано белым платком. Прочитав псалом, Василиса Мироновна подошла ко мне и тихо проговорила:

— Вот и Калин приказал долго жить.

Мне показалось, что в глазах Миронихи блеснули две слезинки, но, заметив мой пылкий взгляд, она быстро отвернулась и тяжело вздохнула.

XVI

Через два месяца после смерти Калина Калиныча я случайно встретился на улице с Василисой Мироновной. Она была чем-то встревожена.

— Ты бы зашел как-нибудь в мою избушку, — проговорила она. — Дело есть до тебя...

— Какое?

— А вот увидишь, когда придешь, — уклончиво ответила раскольница.

Мне давно хотелось побывать в избушке Василисы Мироновны, а теперь «закинулось заделье», и вечером я отправился в дальний конец Старого завода.

Домик Василисы Мироновны стоял на конце Болотной улицы, где начинались маленькие избы и лачужки предместья. Снаружи это был кокетливо чистенький домик, обшитый тесом, с зелеными ставнями и белой трубой. Маленькая калитка вела на широкий двор, который, как у всех раскольников, сверху был покрыт отличной тесовой крышей с несколькими слуховыми окнами, откуда падало света как раз настолько, чтобы не разбить себе лба.

Пол во дворе был деревянный; крутом тянулись какие-то амбары, хлевы, новенький сарай; везде чистота была поразительная, как в комнате, хотя было что-то тяжелое во всей этой обстановке, походившей на деревянную крепость. Гремя железною цепью, отчаянным лаем заливалась громадная собака, стоившая десяти уличных сторожей. Широкое русское крыльцо с точеными столбиками, поддерживавшими небольшой навес, вело в маленькие светлые сени, разделявшие домик Василисы Мироновны на две избы — переднюю, в которой собственно жила Василиса Мироновна, и заднюю, в которой помещалась моленная. Деревянные стены были вымыты поразительно чисто, полы устланы сводедельщиной — половиками, а в передней избе был постлан дешевый тюменский ковер. Налево от двери стояла белая русская печь, как и в избушке Калина Калиныча, отделенная от остальной избы крашеной перегородкой. Вокруг стен тянулись деревянные лавки, в переднем углу стоял выкрашенный синей краской стол, над дверями были навешаны крашеные полати. В переднем углу красовался большой зеленый

киот со старинными образами, пред которыми теплилась неугасимая лампада. Когда я вошел в эту комнатку, светленькую, как игрушка, в переднем углу, облокотившись на стол, сидел Савва Евстигнейч, не поднявший даже головы при моем появлении; голос Василисы Мироновны, что-то делавшей за перегородкой, заставил старика очнуться, и он пристально посмотрел на меня своим единственным оком.

— Милости просим, дорогой гость, — звонко говорила Василиса Мироновна, показываясь из-за перегородки с засученными рукавами рубашки, обнажившими сильные, загорелые руки. — Садись, так гость будешь. Узнаешь гостя, Савва? — обратилась она к старику, который продолжал сосредоточенно наблюдать меня.

— Узнал... Как же, узнал, — глухо отвечал старик. — Помню, на Балагурихе ночевал у нас в балагане...

Усадив меня в передний угол, напротив старика, раскольница на некоторое время исчезла из комнаты и появилась нагруженная снедями и брашном. Весело разговаривая, она

ставила на стол тарелки с черной икрой, прошлогодними рыжиками, балыком, ягодами, изюмом, пряниками и две бутылки — одну с водкой, другую с душистой наливкой из княженики.

— Угощать-то мне тебя нечем, да и не умею я это по-господски делать, — немного кокетливо говорила Василиса Мироновна, как бы напрашиваясь на комплимент. — Уж не взыщи на нашем мужицком угощении!.. Созвать-то я созвала тебя, а угощать и не умею. Выкушайте-ка вот по рюмочке...

Раскольницы и начетчицы больше не было, а была домовитая хозяйка, угощавшая от трудов рук своих, и было что-то трогательное в этой метаморфозе: так и веяло чем-то патриархальным от этой высокой женской фигуры, угощавшей нас с таким трогательным смирением и ветхозаветной простотой. Старик выпил рюмку водки, а я рюмку наливки, которая была необыкновенно ароматна.

— Покойник Калин любил эту наливку, — говорила раскольница, указывая на штофик с наливкой. — А как он умер хорошо: точно просветлел вдруг и все так обстоятельно гово-

рил!.. Только перед самым отходом душа в нем встосковалась, больно плакал: дочери, слышь, жаль, — погибнет без него...

— Добреющей души был человек, — проговорил старик.

— Этаких простецов больше не осталось, — с тяжелым вздохом прибавила раскольница. — И до самой последней минуты все в памяти был, все разговаривал, а потом вытянулся немного и — конец.

Василиса Мироновна, видимо, ухаживала за стариком, который или был болен, или чем-нибудь сильно расстроен. Поболтав еще минут десять, Василиса Мироновна поднялась с своего места и, поправив платок, проговорила:

— А я схожу тут недалеко в соседи... У бабы волос долог, да ум короток: позвала я тебя, а выходит, понапрасну, — пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут побеседуйте, а я живым духом схожу. Так ты уж посиди здесь, — обратилась ко мне еще раз Мирониха. — Я живым духом...

Оставшись вдвоем, я долго не знал, о чем разговаривать со стариком, а он молчал, по-

грузившись в тяжелое раздумье, и, кажется, совсем забыл о моем присутствии. Он выпил уже несколько рюмок водки и заметно покраснел.

— А что, Савва Евстигнеич, как ваш шурф на Балагурихе? — спросил я старика, чтобы начать разговор.

— Какой шурф?

— Ну, да помните, который вы тогда били при мне...

— Ах, да... пустое дело, — бросил скоро! Да и не к чему, — с тихой грустью проговорил старик, опуская голову. — Ведь «Разбойника»-то у меня украли.

— Как так?

— Украли, зломанники! Погубили меня, разорили...

Старик неожиданно заплакал своим единственным глазом.

— А ведь я тебя вспоминал, не один раз вспоминал, — утирая слезы, заговорил старик. — Помнишь, я тебе сказывал, как кыргыз-то убил, а ты мне тогда еще сказал, что как мне его не жаль... Ты тогда ушел, а мне это и пади на ум. Оказия: и работаю, и молюсь, а

кыргыз все с ума нейдет. Не поверишь, сна лишился, от хлеба отбился, а все это было к тому, что пропасть моему «Разбойнику». К тому, значит, и о кыргызе эдак думал... И эпитимию на себя накладывал, чтобы замолить грех, и обещания давал — ничего не помогало! Только одна Василиса Мироновна и отмаливала! Как помолится, так будто маненько и полегчает.

— Как же у тебя «Разбойника»-то украли?

Савва Евстигнейч долго молчал; видимо, что ему трудно было рассказывать подробности этого страшного для него дела.

— Расскажу я тебе это дело по порядку, — начал старик. — Связался тогда я с этой Балагурихой, лето-то простарался, а толку не мог добиться... А надо тебе сказать, и на Балагурихе я работал только для видимости, для отвода глаз, потому в те поры ходил слух, что будет новый исправник, и за нами сильно следили.

— Как так? — невольно спросил я.

— Ну, да уж слово вылетело — не поймашь, да и дело прошлое, да и мне-то теперь все равно: не пойдешь ведь на меня доно-

ситель? Ведь у нас на Старом заводе займутся золотом-то: доносить, так на всех...

— Что вы, Савва Евстигнейч!

— Проболтнулся я тебе — надо, значит, рассказывать все. Видишь, в чем дело: все мы грешны да божьи. Золотом жили. Только с этим золотом — ух как опасно!.. А тут, как с неба, и свались ко мне «Разбойник»... Эх, что это только за лошадь была!.. Огонь, а не лошадь... Ты и во сне не видывал таких лошадей, да и не слыхивал, да никто тебе и не поверит, что на свете кони такие бывают... Одно слово — «Разбойник», разбойничья лошадь! Я вот тебе расскажу, какие мы с ним дела обделывали, а ты их хоть кому рассказывай — не поверят, в глаза осмеют!.. От Старого завода до Ирбита летом верст с двести, а зимой, малыми дорогами, верст сотня, а ярманка-то в Ирбите бывает зимой... Понял?

— Ну, так слушай. На этой ирбитской ярманке и сбывают золото, потому тут съезжаются разные такие азияты, с шарманками там, с пуговками, с мылом, — ну, понимаешь, все это для отводу глаз только! Китайцы тоже не брезгают нашим золотом-то, только несущ-

разный народ: ты с ним каши не сварешь; а вот бухарцы да армяны — те и нас за пояс заткнут!

Старик немного помолчал, а потом, вздохнув и выпив рюмку, спросил меня:

— Ну-с, на чем, бишь, я остановился?

— На армянах, Савва Евстигнееч.

— Да, да, точно на армянах... Так вот в ярманку-то до Ирбита от нас сто верст. Исправник али становой там уж знает, что старозаводские беспременно золото повезут на ярманку, и караулит: помельче кого, вроде нашего брата — в острог, а покрупнее — оберет, как липку, да и пустит в одной рубашке. Известно, кто этими делами занимается — тоже народ прожженный, ходят босиком, а следы в сапогах, да все-таки трудно увернуться: места наши маленькие, всех по пальцам знают, а чуть начал пошире жить, торговать, сейчас уж его и под шапку. А когда попался в мои руки «Разбойник», поездил я на нем первую зиму, вижу, лошадь как есть золотая. Не поверишь, я нарочно на «Разбойнике», для пробы, ездил в одну ночь в Ирбит-то и обратно, ей-богу! Только два дня уж я его к этому готовлю,

все мучаю, а пред самой поездкой с самого утра на нем гоняю до мыла. Потом часа за три до сумерек привяжу его к столбу, простоится он таким манером часа три, дам ему два ломтя хлеба с солью, посажу в санки Гришутку, — помнишь, на Балагурихе-то, — да и в путь. К полуночи Гришутка в Ирбите привяжет «Разбойника» к столбу, даст два ломтя хлеба с солью, стакан водки вошьет ему в глотку да в ту же ночь обратно и приедет на Старый завод, к утру, к самому эдак рассвету. В ночь-то, значит, двести верст и сделает... Скажи-ко кому, да тебе никто в жизнь не поверит! Вот какая была лошадь... Вот когда ярманка-то начнется, раньше прикопишь золотца, да в одну ночку и свезешь в Ирбит-то, а к утру — дома; денежки в кармане, придраться нельзя, потому устроишь так, чтобы с вечера-то все тебя на заводе видели.

Старик низко-низко свесил голову и долго молчал, пока я не вывел его из этого состояния своим вопросом:

— Как же у тебя украли такую лошадь, Савва Евстигнеич?

— А уж так, по грехам господь наказал, —

заговорил старик спокойно и со смирением. — Сплю это я раз летом, таково крепко сплю, только слышу — в окно мне — тук, тук! Кого там, думаю, нелегкая принесла? Отворил окно: сосед. «Чаго тебе?» — «А ты, говорит, ничего не знаешь?» — «Нет, говорю, ничего не знаю». — «Да ведь у тебя лошадь-то, говорит, украли...» Как это он мне вымолвил, так меня ровно обухом по голове, и свет из глаз выкатился! Выскочил на двор, в конюшню, — нет... Ах, оказия, думаю: куда делась лошадь? Ворота все на запоре... Так, думаешь, как они увели лошадь? А взяли, разобрали крышу да через крышу на веревках и вытащили. А собака, может, помнишь, которая на Балагурихе со мной была, Куфтой звали? — окормили ее... Выхожу я за ворота к соседу, а самого так и пошатывает, точно я пьяный совсем. «Что, говорю, теперь делать...» А в глазах так столбы и ходят... А сосед и говорит: «Надо, говорит, толкнуться к Евгешке, — некому окромя его такую штуку выкинуть!» Прихватили мы еще человек трех и — к Евгешке. Помолитвовались под окном, спрашиваем хозяина: надо, мол, поговорить. Выходит Евгешка к нам за

ворота, тут мы его и приняли... Побили, побили мы его тут, — запирается, собака: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Дело было зимнее. Связали мы его по рукам да за ноги-то и привязали к саням, а двое на него, да таким манером через весь завод и проехали, а потом — на рудник, верстах в восьми от Старого-то завода. Приехали туда. У Евгешки спина в лоскутьях, так мясо клочьями и висит, а все запирается... Тут мы взяли да вниз головой его и спустили в шахту: «Сказывай, а то тут тебе и конец!» Покаялся...

— Что же вы сделали потом с этим Евгешкой?

— А сделали мы с ним вот что: он сказал, что моя лошадь в Огневой, — так, деревнюшка тут есть, в семи верстах от Старого завода, плуты на плутах живут. Мы Евгешку на дровни да в Огневу, прямо к тому мужику, на которого он показал, а его и след простыл. Спросили хозяйку: «Точно, говорит, была лошадь, да только увели». Делать нечего, потеревили маненько для памяти бабенку да с пустыми руками и приехали на Старый завод, а Евгешку опять по-за саням тащили, да у его дома и

бросили замертво...

— Что же потом с ним было?

— А известно: собаке — собачья и смерть. Хозяйка позвала лекаря, а лекарь станового... Становой-то посмотрел на Евгешку, да и говорит: «Дураки, ангел мой, говорит, и те, что Евгешку-то, слышь, били, — надо бы, говорит, его до смерти». Так бы и следовало, да пожалели мы-то его, варнака, только маненько поучить хотели... На третий день он так и помер без языка.

— Отчего же вы не отвели Евгешку к становому, когда его поймали?

— К становому?.. Что ты, милый человек, да у станового-то он, может, с тыщу разов бывал, да разве ты его проймешь этим? Ни в жисть! Становой к мировому, мировой на выsidку и — конец всему делу. А нашему брату от их, варнаков, разоренье, да еще худую славу пуцают на весь Старый завод, — дескать, там что ни есть несосветимые[8] плуты живут... Мы их в ту весну еще четверых уходили, конокрадов-то, — больно шалить зачали.

— Что же, ты не разыскивал больше лошадей?

— Как не разыскивать!.. Разыскивал. Почитай все время разыскивал, только понапрасну время терял, потому они «Разбойника» в степи угнали. И деньги раздавал нищей братии, и на обители подавал, и в скиты денег-то охапкой посылал — ничего не берет: нет моего «Разбойника» — и шабаш!.. Денег-то, которые нажил он мне, еще много осталось, да друга-то сердечного не стало!.. Вот я и езжу все да отыскиваю его.

XVII

— Иди-ко сюды! — поманила меня Василиса Мироновна, приотворив дверь в переднюю избу. — Я тебе покажу одну штучку.

Мы вышли в сени. Василиса Мироновна отворила дверь в заднюю избу и дала мне дорогу. Издали мелькнула неугасимая лампада, которая теплилась перед целым иконостасом из старинных образов. На меня пахнуло росным ладаном и запахом восковых свеч и деревянного масла.

— Не признаешь ли? — спрашивала раскольница, указывая рукой на какую-то женщину в черном платке.

Я немного даже отшатнулся назад: передо мной сидела Евмения. На ней надет был косоклинный раскольничий сарафан с глухими проймами, ситцевый, подвязанный в подмышках передник, белая миткалевая рубашка. Голова была повязана темным ситцевым платком, сильно надвинутым на глаза; из-под платка выбивалось несколько прядей белокурых волос; болезненно-пристальным взгля-

дом смотрели совсем округлившиеся серые глаза.

— Здравствуйте, — проговорил я, протягивая руку.

— Здравствуйте... — как-то неохотно ответила Евмения.

— Помилуйте, Евмения Калиновна, что это за маскарад такой?

— Маскарад?.. Вы думаете, что это маскарад?.. Нет, настоящий маскарад кончился, — будет! — При последних словах Евмения хрустнула пальцами и засмеялась злым смехом.

— Вы давно из Петербурга?

— Право, не помню хорошенько... Василиса Мироновна, когда я пришла к вам?

— Третьева дни, милушка, третьева дни... Этак под вечер будет, — отвечала раскольница, складывая свои руки на груди.

— Вот к ней под начал поступаю, — проговорила Евмения, вскидывая глазами на Василису Мироновну. — В горы скоро уйдем, в скиты...

Меня совсем изумила встреча с Евменией в этой обстановке, которая представляла та-

кой резкий контраст с тем, что я видел каких-нибудь полгода назад в клубе художников. Расспрашивать Евмению прямо о причинах ее появления в Старом заводе я не решался, предоставляя ей самой высказаться. После короткого разговора ни о чем Евмения кинула мне вызывающую фразу:

— Что же вы меня не спрашиваете, зачем я уехала из распрекрасного Петербурга? Может быть, опасаетесь повредить мои нервы?..

Точно вспомнив что-то, она быстро и уже серьезным тоном проговорила:

— Вы, батенька, пожалуйста, не смотрите на меня, как на жар-птицу... У меня ведь действительно неладно с нервной. Я поэтому больше и инкогнито сюда заявила. Не хотелось ни с кем встречаться из старых знакомых. Отдохнуть хочется. Устала.

Евмения при последних словах несколько раз сухо кашлянула.

— Видите, бронхит на память о Петербурге привезла...

— Молочко-то ты выпила? — спрашивала Василиса Мироновна.

— Выпила... Спасибо, голубушка, на молоч-

ке. Мужик за спасибо три года работал... Ну, а что Савва? — спросила Евмения, беззаботно встряхнув головой. — Все еще, небойсь, дуется... Скажи ему, что я не сержусь на него.

— Вот, подумаешь, связался старый с малым, — полусхусть, полусерьезно проговорила Василиса Мироновна, обращаясь собственно ко мне. — Не берет их мир — и кончено... Никак это вчерась за ужином было... Ведь чуть они не разодрались, ей-богу!.. Эта стрекоза-то давай старика своими сигарками дразнить, а тот и войди в сердце. И смех и горе... О-о-хо-хо!.. Теперь и сидят по разным углам, как кошка с собакой.

— А я очень люблю Савву, — откровенно призналась Евмения. — Он такой славный старик и так смешно о своей лошади тоскует... Мы с ним послезавтра в скиты отправляемся. Дорогой помиримся...

— Вы долго думаете пробить здесь? — спросил я.

— Я-то?.. Гм... Я приехала, надо полагать, совсем, — ответила Евмения и задумалась. — Доктора проклятые все мутят, — прибавила она с улыбкой. — Насказали мне таких чет-

вергов с неделей, что ложись да умирай: и в груди неладно, и нервы, и ностальгию приплели. Да ведь вы еще не знаете ничего... Праведный-то — помните? — формальное предложение мне сделал, да-а!.. Да вы только представьте себе такую комбинацию: я и — m-r Праведный... Нечего сказать, примерная пара — свинья с пятиалтынным!..

— Оно и лучше бы, ежели бы в закон вступить, — заметила степенно Василиса Мионовна. — А то не знаешь, к чему тебя и применить: ни ты баба, ни ты девка...

— Этого, Василиса Мионовна, я и сама не знаю, к чему себя применить... Теперь вот по старой вере хочу пойти, кануны говорить стану по покойникам да неугасимую читать.

— Не таранти языком-то!.. Больно он у тебя востер... Еще покойничек Калин Калиныч как бывало жалился на тебя за язычок-от!

— Да, да... Я его до слез даже доводила, — припоминала Евмения с задумчивой улыбкой. — А знаете, — прибавила она, — какой удивительный случай со мной вышел... Как я узнала, что отец умер, мне вдруг так сделалось его жаль, что и рассказать не умею. Дня

три проплакала, а потом не могу его забыть, и кончено... Я только теперь его оценила... Знаете, я отдала б бог знает что, чтоб увидеть его еще раз! Глупа была, — не понимала отца... А тут как посравнила с другими людьми, с этими разбойниками, — ну, тогда и опомнилась. Ведь славный был старик, да?.. Честная, хорошая душа... Я, право, так люблю его теперь, как никогда не любила. В нем была эта евангельская чистота сердца и, понятно, совсем особенная незлобивость, кротость, любовь к людям...

Понемногу Евмения разговорилась, по обыкновению быстро перескакивая с одного предмета на другой и постоянно меняя тон. Но печальные ноты так и проскакивали в этом неровном разговоре, а оригинальное лицо освещалось какой-то недоверчивой улыбкой. В своем странном костюме Евмения была сегодня особенно оригинальна; она это чувствовала и, кажется, немного стеснялась.

— Надоело играть вечную комедию, — говорила она, опуская глаза. — Здесь, то есть в Старом заводе, по крайней мере была вера во что-то хорошее, вера в каких-то людей... Ко-

нечно, и это хорошее, и эти необыкновенные люди были там, в Питере, а на деле... Разница вся только в том, что в Старом заводе и подличают, и лгут, и обманывают, и делают всякие гадости в микроскопических размерах, а там все это — в увеличенных.

— Неужели ж вы там ничего хорошего и не встретили?

— Как вам сказать... Раза два были такие случаи. Попался мне один юноша, из зелененьких... Все это, знаете, в нем еще бродит, хочет осчастливить мир и так далее. Честно этак, тепло, молодо. Я даже немножко, грешным делом, увлеклась было, по части сердечной тронулась, — ну, да вовремя опомнилась и юношу живо отрезвила. Обругал меня, плюнул... После спасибо скажет, может быть. Потом в другой раз... к художникам попала. Да, к настоящим художникам, понимаете!.. Со всем как на луне живут, сердечные, точно сейчас с того свету... Ну, поиграли со мной, забавляла их, а потом наскучило сестричкой у тридцати братцев трепаться. Тут уж я плюнула. Ну их к нечистому!.. Очень уж пресный народ...

— А сцена?

— Вот здесь-то мое слабое место и оказалось... Все надеялась, все ждала, а потом действительно были маленькие успехи. Поманило... Взясась за роли потруднее, да и провалилась, — пороху не хватило... Были дураки, которые даже хвалили, только уж тут я сама понимала, что такие похвалы хуже ругани. Совесть зазрила... Думала даже покончить с собой, да опять пороху не хватило. Вот тут-то на меня тоска настоящая и навалилась, — да такая тоска, точно как мышь в мышеловке сидишь!.. И так мне опротивел тогда этот Питер, что просто хуже смерти, Затосковала. Это я-то затосковала!.. Смешно рассказывать даже, о чем думала. Вспомнилась моя комнатка... Вы, кажется, были тогда в ней? — Ну вот, та самая. Полочка с книжками, железная кровать, тетради разные... А тут отец вдруг умер, — я уж и совсем свихнулась. Ни сна, ни аппетита, — хожу сама не своя. Посоветовали обратиться к Боткину. Выслушал меня, посмотрел, да и говорит: «Ну, вам, барынька, поскорее во свояси надо убираться! Воздух родины — единственное лекарство для вас». Тут уж я

обеими руками перекрестилась, да и махнула сюда. А теперь пока у Василисы Мироновны околачиваюсь... Вот женщина, так женщина!.. Я когда смотрю на нее, так мне легче делается. Мы с ней, кажется, сошлись, хоть она и журит меня. И знаете, я службу ихнюю раскольничью полюбила... По целым часам выстаиваю и все слушаю и смотрю. Тут чувствуешь, что люди действительно живут всем существом, а не обманывают себя и других разными благоглупостями.

Василиса Мироновна не присутствовала при последнем разговоре. Ее вызвал какой-то таинственный мужик. До моленной, где мы сидели, доносился ее голос обрывками. Раскольница кого-то журила, а потом, видимо, смилостивилась, и ее голос зазвучал мягкими женскими нотами. Скоро ее высокая фигура появилась в дверях моленной.

— Вы бы шли чайку попить, — предложила Василиса Мироновна.

— А там у тебя кто-нибудь есть? — справилась Евмения.

— Да кому быть-то, милушка... Сидит твой благодприятель, Савва, и все тут. Ну, идите, —

самовар на столе!

Когда мы вошли, старик нахмурился и отвернулся от Евмении. Василиса Мироновна благочестиво подобрала губы в оборочку.

— Старичку... сто лет здравствовать! — весело проговорила Евмения, фамильярно хлопая Савву по плечу. — Ну, будет!.. Я ведь не сержусь на тебя, — слышишь?

— Ты не сердишься, да я, может, сержусь на тебя, — сурово ответил старик, стараясь не смотреть на Евмению. — Прытка больно зубы-то заговаривать!

— Хочешь, я тебя поцелую, старичок? — весело сказала Евмения.

— Отойди, грех...

— Ну, ну, будет вам беса-то тешить! — усовещивала Василиса Мироновна. — Ишь, вас забрало!.. Милушка, садись сюда, — прибавила она, указывая Евмении место около себя на лавке.

— Нет, мне здесь лучше, — ответила Евмения, усаживаясь на лавку рядом со стариком и по пути задевая его локтем.

— Тьфу! — отплевывался Савва, стараясь скрыть набегавшую на лицо улыбку.

— А ты, старичок, не сердись, — печенка испортится, — не унималась Евмения. — Еще собираешься со мной в скиты богу молиться.

— Я-то поеду, а уж как ты — не знаю, — отвечал Савва. — Разве с Лыской на одной линии побежишь.

— Ну, уж и с Лыской!.. Полно грешить-то, Савва Евстигнеич! Во мне тоже, поди, не пар, а христианская душа...

— Всем бы ты девка хорошая, — уже весело заговорил старик, — только молиться по-нашему не умеешь... Значит, нам с тобой не по одной дороге богу-то молиться. Ты вон и рыла-то не умеешь по-настоящему перекрестить...

Спор опять возгорелся с новою силой, и Василисе Мироновне стоило большого труда потушить его. Я вспомнил наш чай в избушке Калина Калиныча, когда мы все так весело смеялись над анекдотом Праведного. Через минуту она спросила меня:

— А помните *тогда* анекдот Праведного? Давно ли, кажется, все это было, а между тем сколько воды утекло за это время!..

Чай вообще закончился довольно печаль-

но. Видимо, каждый был занят своими собственными невеселыми мыслями. Когда я стал прощаться, Василиса Мироновна проговорила:

— Погоди уже меня, вместе пойдем... Мне по пути с тобой идти-то. Дьяконица тут двойней родила, так надо проведать бабу-то... Дьякон-то зашибается маненько.

Когда мы выходили из избы, Евмения не утерпела и крикнула вслед:

— Увидите наших-то, так кланяйтесь своим-то!..

— Видел? — спрашивала меня раскольница.

— Видел. А что?

— Да так я спросила. Может, думаю, не заметил ли чего...

— Больна она, кажется.

— Уж и не говори: местечка живого нет, так в чем душенька держится, — махнув рукой, ответила Василиса Мироновна. — Грешный человек, не любила я ее допреж этого, даже очень не любила.

— А теперь?

— Теперь-то...

Василиса Мироновна немного помолчала, а потом тихо прибавила:

— А теперь, милый человек, сна мне вот куда приросла (раскольница показала на сердце). Да... И как это чудно все вышло, ума не приложу. Я тебе не рассказывала?.. Так вот послушай. Сидим это мы с Саввой третьева дни, этак под вечер дело, — ну, там за самоваришком калякаем, — под окном кто-то и постучись, да тихо таково, вроде как за милостыней. Я подхожу к окну-то, глянула на улицу, а она там стоит да на меня и смотрит... Таково страшно смотрит, страшно и ласково. Я попервоначалу-то испугалась и отшатнулась даже от окна. Да уж потом сотворила молитву и говорю ей, чтобы в избу шла. А надо тебе сказать, она и в избушке у меня отродясь не бывала... Ну, пустила я ее, а сама все как-то не в себе ровно, так мне неловко даже, совестно как-то. Худенькая такая сама-то, а одежонка-то на ней по-модному, точно облепила всю... А глазенки этак зло, зло смотрят. Я опять, согрешила, подумала про себя, зачем это она в мою избушку пришла. И с чего это я подумала — никакого толку не могу дать. Ну,

Савва сидит на лавке, тоже смотрит на гостью волк волком. Знаешь, какой у него разговор-то, — не скоро раскачается... Ну, приговорила я ее все-таки чайку там напиток, закутить, — не гнать же в сам-то деле странного человека. Напилась она чаю, тарантит по-своему, а сама нет-нет — да и скашлянет... Зажгла я свечку, потому на дворе стемнело давно, а она мне и говорит: «Василиса Мироновна, *не гоните меня*, — я останусь у вас ночевать». Только всего и сказала, а сама светленько, светленько таково смотрит на меня, совсем по-ребячьи... Так, понимаешь ты, этим своим одним словом она точно придавила меня, ей-богу!.. И жаль мне ее стало, и совестно сделалось, что раньше-то я так про себя о ней подумала?.. Покраснела даже, а сама не смею на нее поглядеть. Тут уж у меня сердечушко-то и сказалось... «Ведь живой человек она, — думаю это про себя, — душа в ней, а я, дура, что подумала про нее». И Калина-то вспомнила... Горниц то у меня не больно много: в передней избе сама с одной старушкой сплю, а в задней ей и приготовила постельку. Ну, уложила ее спать, а она все щебечет, все

ластится, а меня то в жар, то в холод от ее слов бросает. Раскрыла свой чемоданишко, давай мне показывать наряды там свои и книжки... «Вы, говорит, может быть, думаете, что у меня денег нет?» Открыла там боковушку какую-то и показывает: действительно, денег много, пожалуй, с полтыщи будет. А она опять мне: «Вы, пожалуйста, не подумайте, Василиса Мироновна, что я эти деньги чем дурным нажила...» Ну, рассказала там про кятры свои и всякое прочее, а я ничего не говорю, потому по ее это хорошо, а по-моему, так куда непригоже...

— Ну, тут и самый этот случай вышел... Ушла я в свою переднюю избу, помолилась и легла. Только лежу я это на лавке, а сама думаю. *«Не гоните меня...»* — так вот и стоит в ушах. Сотворила молитву, стала о другом думать, — нет, нейдет это самое слово из ума, хоть ты што хошь! Только слышу, кто-то босиком по сенкам ходит, а потом рукой скобку и ищет... Тихо ночью-то, слышно все. Привстала я, думаю, уж не лихой ли человек. Ну, а она дверь-то и отворила.

— Кто — она?

— Да говорят тебе, Евмения-то... Она самая. Как я ее уложила, в том и пришла: рубашонка одна на ней, босиком... Ну, я и притворилась, что сплю. Думаю, что дальше будет. Вот она огляделась в избе-то, увидала меня и сейчас ко мне. Встала этак возле самой лавочки на коленки, наклонилась надо мной и смотрит. Потом и давай будить: «Василиса Мироновна! Василиса Мироновна!..» Ну, я сделала вид, что проснулась, и спрашиваю: «Что, голубка?.. Может, испить захотела?» Она тут как-то вся даже затряслась, обняла меня, прижалась ко мне к самому лицу и шепчет: «Василиса Мироновна, мне страшно, — я боюсь!» — «Ах ты, говорю, глупая, чего же ты испугалась?» А она мне: «Василиса Мироновна, голубушка, я скоро умру, — страшно мне». — «Чтой-то, говорю, милушка, зачем прежде смерти умирать...» Ну, стала я ее утешать, уговаривать, а она все только головкой качает и заливаётся-плачет, река рекой... Она плачет, и я плачу, так в два голоса и ревом. И то мне в диво стало, что уж очень меня ласкает, целует всю, руки даже мои целует... А потом села ко мне на лавку, прислонилась ко мне головушкой и давай

рассказывать. Уж так-то она хорошо да складно мне говорила, что и думать, так не придумать... Да ведь хорошо как!.. Тут и вспало мне на ум, что сиротка она, одна-одинешенька... «Ах ты, умница моя, милушка моя», — говорю я ей, а сама каюсь ей про то, как подумала сперва-то. Так мы цельную ночь, обнявшись, и просидели; она у меня на руках тогда и уснула, хорошо так уснула: ручками раскинула, вся точно распустилась, — не как большие спят, а как дите. Ну, я держу ее на руках-то, а самадохнуть не смею, чтобы не разбудить ее как... Ах ты, господи батюшко, да не девка ли такая уродилась!.. Так ты не поверишь, теперь вот третий день она у меня живет, а я все как во сне брожу, и так мне хорошо, так весело, точно вот она мне родная дочь, да какая дочь!.. Савве после рассказала я, так тот заплакал... И тоже заполонила она его, хоть он и ворчит. Вот поди ты, уродится же такое детище приворотное. А днем-то опять все на голове ходит, да еще вздумает по-своему, по-княтральному представить... Однава так нас напугала, так напугала, — думаем, рехнулась наша девка. Савва-то даже перекрестился... А

она как захохочет... Только не жилица она, — печально прибавила Василиса Мироновна. — Дотянет-нет до весны... И Савва-то ведь как ей рад, право! Сидит даве утром и говорит: «А где, говорит, наша богоданная дочка?..»

Примечания

Впервые напечатан в первой и второй книжках «Русской мысли» за 1883 год под названием «Старатели». Очерк из уральской жизни» за подписью: Д. Сибиряк. Печатается по сборнику «В глуши», М., 1898 г. с исправлением опечаток по журнальной публикации.

Работа над очерком может быть отнесена к 1880 году. На рукописи (хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства — ЦГАЛИ) — авторская пометка: «1880 г., 1 декабря, г. Екатеринбург». Видимо, вскоре очерк был направлен в «Вестник Европы»; об этом говорит письмо к А. Н. Пыпину от 28 июня 1882 года: «Два года назад я посылал рассказ «Старатели» (Гос. публ. библиотека имени Салтыкова-Щедрина, Рукописный отдел). После того, как очерк был отклонен редакцией либерально-буржуазного «Вестника Европы», автор передал его в «Русскую мысль». В письме А. С. Маминой от 18 января 1882 г. об этом сказано: «мною отдан в толстый журнал «Русская мысль» мой рассказ «Старатели», отдан еще в половине прошлого

октября» (ЦГАЛИ).

Рукопись хранится в ЦГАЛИ, там же находится выправленная автором копия 4-й главы (окончание ее отсутствует), содержанием которой является судебный процесс Гвоздева и Печенкина. На первой странице копии авторская помета: «NB. Эта глава может быть выпущена совсем или сокращена до minimum'a, так как весь очерк вышел очень длинен. Автор». Эта глава нигде не печаталась.

Рассказ перепечатан в сборнике «В глуши», М., 1898.[9] При подготовке к этому изданию автор изменил название рассказа (вместо «Старатели» — «В горах»), сократил его и сделал значительное число поправок, улучшающих стиль произведения.

На рассказ «Старатели» откликнулся критик газеты «Современные известия» (№№ 8, 9, 41, 1883 г.). «...типы золотоискателей, — писал он, — едва намеченные в первой части, во второй охарактеризованы рельефнее. Фоном для них служит дикая сибирская среда, в которой царит полный произвол и самодурство. Старателям придан теплый тон».

В рецензии на сборник «В глуши» критик

журнала «Мир божий» писал: «Большой очерк «В горах» еще разнообразнее по содержанию (он сравнивается с рассказом «Все мы хлеб едим». — А. Г. и С. Г.), напоминая большие произведения того же автора, как напр., его роман «Хлеб». Только в очерке нет той полноты и закругленности, как в романе. Это как бы ряд эскизов, послуживших в свое время художнику для богатой бытовой картины... В очерке нет еще настоящей законченности, нет центра, вокруг которого группировались бы все выведенные лица. Перед нами ряд набросков, из которых каждый отделан вполне и может служить готовой картиной».

Но ни один из рецензентов не отметил социальной остроты рассказа, осуждающего не только дикий произвол провинциальной администрации и всяческие безобразия разбогатевших купчиков, но и ту систему, при которой возможны все эти безобразия. В этом смысле приобретают большое значение слова Евмении, которая возмущена развратом, подкупами, характеризующими «господ» уральского городка. Там, в Петербурге, говорит Евмения, все это — в увеличенных размерах.

Стремление показать типичность нарисованных в рассказе нравов уральского провинциального города подчеркивалось эпиграфом, сохранившимся в черновом автографе: «Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь... *Гоголь*».

Стр. 301. *Аргонавты*— герои одного из древнегреческих мифов, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду (совр. Закавказье) за золотым руном.

Стр. 329. Выражение «*Ах ты, зелие кабашное*» в несколько измененном виде взято из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники». У Некрасова: «Ой! ты зелие кабашное...»

Стр. 330 *Прикержачиваете*— склоняетесь к расколу.

Стр. 367. *Боткин С. П.* (1832–1889) — профессор Петербургской Военно-медицинской академии.

Note1

«Палаустными» на Урале называют такие ба-
лаганы, которые строятся наподобие детских
домиков из двух карт. (Прим. Д. Н. Мами-
на-Сибиряка.)

[^^^]

Note2

Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабочих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note3

Странное — странническое. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note4

Роптать. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note5

Остротами (франц.).

[^^^]

Note6

Золотая молодежь (франц.).

[^^^]

Note7

В худых душах — при смерти. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note8

Несосветимые — каких во всем свете не найти. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note9

В собр. соч. Мамина-Сибиряка в 12 томах, Свердловск, 1948, т. I допущена ошибка. В комментариях к очерку сказано, что после журнальной публикации «очерки нигде не перепечатывались» (т. I, стр., 358).

[^^^]